
Елена КРЮКОВА

ЛАЗАРЕТ

Роман

*Памяти великих русских хирургов:
святителя Луки (Валентина
Феликсовича Войно-Ясенецкого)
и Николая Михайловича Амосова*

ФРЕСКА ПЕРВАЯ. СЕВЕРНАЯ СТЕНА

Раскрой же двери. И войди, войди сюда босиком. Ты легчайшая легких, ты добрейшая добрых. Кто тебя разберет, девчонка ты или музыка. Я тут лежу, лежу себе, лежу; а тыходишь и глядишь на меня, ты принадлежишь к существам, что не могут говорить, а только молчат, молчание твое хрустально, беспечально, изначально. Я бы возомнил, что ты мне снишься, да видишь, я здоровою рукой крещусь и благодарен я Господу, благодарен воздуху, коим дышу, что плечо мне раздробили левое, а не правое, и я могу шевелить рукой и накладывать крестное знамение. Наступили такие времена, что ты, инфанта, видишь вокруг себя не тех, кто верит в Бога, а лишь тех, кто верит в кровь и злобу. Ты благородна, а я тебе тоже благодарен. Вот лежу я тут, лежу. Губы уже не дрожат, они только тихо, слабо улыбаются, и я могу беседовать с тобой лишь сердцем, а это всего лишь кровавый комок, весь оплетенный прутьями и лозами плодоносных сосудов, как часто я видел его в красной слизи, а он бился у меня под руками в резиновых перчатках, взбрыкивал, хотел вырваться из клетки костей, убежать, утечь в небеса, — а я хищно хватал его, сжимал в кулаке, ритмично сжимал, как мяч для гимнастики ладони с перерезанными сухожилиями, — ах ты, инфанта в трапезке, не пугайся моих мыслей, я тебе еще не то расскажу, приучайся меня не бояться, — и тот кусок плоти, что, по нашим детским верованиям, полон добра и любви, яростно бился у меня в ладони, а потом вдруг застывал алой глыбой, мертвой очи-

Елена Крюкова родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького. Член Союза писателей России. Член Творческого Союза художников России. Поэт, прозаик, искусствовед. Автор книг стихов и прозы («Юродивая», «Врата смерти», «Рай», «Беллона», «Тибетское Евангелие», «Солдат и Царь», «Побег», «Земля», «Хоспис», «Иерусалим», «Оборотень» и др.). Лауреат премии им. М. И. Цветаевой («Зимний собор», 2010), премии Za-Za Verlag («Танго в Париже», 2012, Германия), Кубка мира по русской поэзии (2012, Латвия), Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» («Старые фотографии», 2014, «Солдат и Царь», 2016, «Вера», 2019), международных литературных премий им. И. А. Гончарова («Беллона», 2015), им. А. И. Куприна («Семья», 2016), им. Э. Хемингуэя («Беллона», 2017, Канада), Южно-Уральской премии («Старые фотографии», 2017), им. С. Т. Аксакова («Хоспис», 2019), ДИАС («Евразия», 2019), им. Ф. И. Тютчева («Созвездие Лебеда», 2020), им. Н. Н. Благова («Вера», 2021) и др. Публикуется в литературных журналах России и стран мира (Франция, Германия, Болгария, Украина, Беларусь, США, Канада). Создатель арт-проекта «Театр Елены Крюковой».

панной курой, и я, молясь о продолжении жизни, наклонялся над ним, скользким, облитым кровью, и даже дышал на него. Так дышат на морозное стекло.

Я сам, дитя, стал морозным стеклом. Подыши на меня! Отогрей меня!

Вот, вот, видишь, ты подходишь ближе. Еще ближе, не страшись. Твои зрачки, две букашки, ползают по мне, изучая, дивясь, а я-то гляжу на тебя не глазами: у меня их нет. Один затянут бельмом-паутиной, другой мне выбили, когда мучили меня. Про это я тебе не буду. Не настало время. Я слышу, как твои босые ноги шаркают по давно не мытым половикам лазарета. Вот лежу я здесь на железной койке, один, как царь, и железная сетка не прогибается подо мной, такой я легкий. Ты тоже легкая! Ты легко дышишь! Я слышу твоё дыхание, оно слетает ко мне бабочкой!

Иногда я слышу, как ты бродишь по унылой палате и возишь по полу щеткой. Я вижу сердцем твою щетку: длинная ручка, седая щетина, вся повывлезла. Две твоих тощих косички связаны на затылке корзиночкой и упрятаны под ярко-красный платок. Да, платок у тебя на лбу цвета крови, он повязан плотно, палец под суровую ткань не протолкнешь. Сколько тебе лет? Десять? Тринадцать? Пятнадцать? Ты слишком худенькая, поэтому твой возраст можно перепутать. Думаю, двенадцать тебе. Двенадцать апостолов ходили по горячим пыльным дорогам за Христом, а ты тут ходишь за больными. И не за деньги наняли тебя; тебя приневолили, тебе приказали. Ты послушалась, а что было делать? Скажи спасибо, тебя кормят. Швыряют в миску старинным оловянным половником жидкую кашу.

А ты неслышно подходишь ко мне, садишься на край моей койки, моего железного последнего корабля, и кормишь меня. С ложечки. Оловянная миска дрожит на твоих коленях, она живая. И чувю я себя ребенком, и стыдно мне, и сладко, и больно, и яростно, и ничего тут не поделывать; я ловлю губами скользкую с ложки в небытие собачью кашу и думаю: нет, это еда не для прелестных инфант, это еда для уходящих с лика земли в ночные небеса.

Там плавают рыбы-звезды. Дрожат поплавки планет. Милая, я в юности любил рыбачить. А когда рыбы наловлю, костерок разожгу, котелок на огонь водружу, разрезаю изловленных серебряных и золотых рыб вдоль брюха, прямо посредине подрагивающих красных плавников. Красный Мирь! Кровь везде. Я вычищал ножом у рыбы из брюха кишки, а она еще дергалась, и я опускал ее в булькающий кипяток, в адский котел, и не ведал я тогда, что буду не рыбам — людям животы разрезать. Ребра ломать. Мышцы кромсать. А потом крепко сшивать. Нить, которою шивают людские раны, должна быть крепкой и мягкой.

Это как любовь: она вместе и сильная, и нежная.

Милое дитя, ты знаешь, я нахожусь внутри твоей картины. Ты же не живая, нет. Ты — нарисована. Я слышу тебя душой, вижу сердцем, обнимаю духом, а где твоё тело? А где мое тело? Мы сами себе снимся. Я то и дело погружаюсь в сон, а что еще прикажешь делать в лазарете? Спать! Спать! Неужели тебе не снится твоя свита, твой веер из павлиньих перьев, твоя собака, твоя рыжая кошка, твои слуги, твои высокородные родители? Их отражения — вон там, подними глаза, в квадратном тусклом зеркале, высоко висящем на затянутой мрачной парчой стене. А может, это не парча, а соленые рыбы морские, на северном ветру насквозь провяленные, и не зеркало мотается, накренившись, под косым деревянным потолком, а грязное окно: и в нем не королевские сытые лица, а дальние, в мутной мгле, виселицы и плахи.

Я лежу меж тобой, твоим живым шевелением, и между ледяным зеркалом, отражающим мою смерть. Нашу общую смерть, одному умирать так тоскливо, невыносимо. Нет, не бойся, придвинься ближе. Кашу я уже всю съел. Мне трудно глотать. Мне тяжело говорить. Я посылаю тебе мысли, и ты гуляешь среди них, как в чащобе мороз-

ных узоров на зеркальном оконном стекле. Продыши во мне, застылом, смешной прозрачный кружочек нежным ртом! И приблизь к нему око свое. И гляди. Наблюдай. Ты много чего увидишь. Ты никогда не носила украшений, дырявое платье твое пахнет соленой трескою, картофельными очистками, золой и свечным нагаром, но мы с тобой здесь русские люди, наш лазарет на берегу моря, я никогда не мечтал так умирать, но я сейчас яснее, чем когда-либо во зрячей жизни, вижу: тело — хворост, душа — играющая рыба, дух — усыпанное полночными звездами небо. Я твое небо. Я дух. Ты кормишь меня кашей, это твоя обязанность, твое больничное послушание, но это лишнее. Я лежу, ты сидишь, а на нас из зеркала смотрит страшный Мирь, который мы покинули. Мы никуда уже не уйдем с этого берега моря. Да нет, ты никакая не инфанта, ты царевна, зачем нам заморская живопись, мы же русские люди. Почему ты молчишь? Ты так внимательно, благоговейно слушаешь меня? Я лежу между твоей свитой, царевнушка, между швабр, щеток и веников, мисок и ложек, оловянных и деревянных, между запахом иных, многозвездных красок, между режущими скальпелями врачебных голосов — и между Тем, кто стоит там, в углу, о, не оборачивайся, сначала я посмотрю ему в угрюмые глаза ясновидящим сердцем, — там, за нашими спинами, за перевалами ненависти и любви.

Я дерзну рассказать тебе сегодня мою любопытную историю. Ты любишь слушать истории? Так вот слушай! Возьми невесомыми пальцами мою здоровую руку. Пожми ее. Я с трудом смогу ответить тебе пожатьем. Но я сделаю это. Давай склеим пальцы, сольем. Я не раз переливал при операциях кровь — не только из стерильной банки, но от человека к человеку. Господи! Любовь Твою и прощение Твое на нас излей! Я много грешил, хоть пытался людей от смерти спасать. А ты, девочка, ты же подснежник в весенней тундре! Ты из Ангелов. Я узнал тебя.

Позволь мне начать мой рассказ. У тебя была бабушка? Нет? Она нашептывала тебе на ухо сказки, укладывая спать? Нет? Ты сирота, я понял. Давай я буду твоими отцом и матерью, твоими дедом и бабкой, твоими братьями и сестрами, твоими далекими детьми и внуками. Мы свиделись на перекрестье времен, и время обожгло наши щеки и ключицы огненным ветром. Давай простим наше время и тихонько, на время, забудем его. Времени на самом деле нет. Зря все верят, что оно есть. Все повторяется. Все хохочет во все горло. Заливается слезами. Какая теплая у тебя ручонка. Начнем же. Слушай. Господь с тобой.

АЛЕКСЕЙ

Село, где родился, не скажу тебе названия его, забыл, очень любимо было мною. Я любил его, едва осмыслил видимый Мирь, глядя на его красоту и безобразие широко распахнутыми глазами; глаза, доченька, это двери, и через них все входит в тебя — и ужас, и благословенье, и тяжело им, обнявшимся, выйти наружу. А может, я любил мою Родину еще до рождения; Родина ведь в нас течет, она наша кровь, наше упование. Не изменим ей. Не поглумимся над ней. Отец мой был беден; так беден, что иной раз, созерцая наш быт и домашнюю утварь, я забивался в угол, закрывал ладошками лицо и сотрясался в бессмысленном плаче. Нищету не поправить. Не залечить. Она как родимое пятно. Я тогда не знал, что возможно враз разбогатеть, а потом внезапно потерять все драгоценное; мой отец был никто, да, видно, так и надо назвать его: никто, и звать никак, прости, шутить я не умею. Отец был всем и ничем. Он много чего умел, руки у него были золотые. Он пилил и рубил, колол, строгал. В нашем бедном доме он все сам смастерил: из найденных на задворках досок сколотил двери, сделал стол и табуреты, сложил жалкую крохотную печку в бане, похожей на сарай,

чтобы семейству можно было печь растопить, воду согреть и помыться. Нас, детей, было трое, а матери у нас отродясь не было. Мы росли при отце и думали, что так и надо. Хотя видели во чужих дворах баб, тощих и толстых, а также древних старух, и понимали: вот женщины, и они занимают место под Солнцем, и делают дела, и возятся с детьми, значит, так тоже на земле бывает. <...>

Два моих брата выросли, старший поступил в услужение в городе, другой остался в селе и работал по найму: то баньку кому срубят, то доски с лесопилки привезет, то крышу черепицей покроет. Мы с ним ютились в отцовской бедной избушке. Старший прибыл летом, вкусить ягод и накупаться в родной реке, и изрек: а тебе бы, Алешенька, надо бы тоже в город перебраться, давай я тебя санитаром в лазарет устрою. А что такое лазарет? — спросил я, как дурак. Лазарет, наставительно поднял палец старший брат, это такой большой дом, где лежат больные люди, много несчастных больных людей, а доктора их лечат, у докторов свои заботы, как получше больного вылечить, а ты бы там докторам помогал, сновал туда-сюда, тазы с водой им подносил, чистые полотенца, грязь из-под коек метлой выметал, мыл полы, окна в палатах настежь распахивал, чтобы болящим было чисто и вольно дышать. Ну как, поедешь работать в лазарет?

Я кивнул. А что мне оставалось делать?

И еще мне стало жаль больных. Вот бедные, думал я, валяются на койках, встать не могут, стонут, плачут, страдно им, томно! Ну как им не помочь! Конечно, надо помочь! Помогу!

И тогда, в те поры, мы отправились в город вместе с братом.

Средний брат стоял на крыльце и махал нам рукой. Мы то и дело оборачивались и ответно махали ему. Шли мы к железной дороге, через поле и лес, а потом опять через поле. Жужжали шмели. Старший аккуратно нес в руке маленький картонный чемоданчик. У меня за плечами моталась самосшитая котомка. Босые мои ноги мелькали у меня перед глазами, когда я опускал взгляд. Мы добрались до станции, отдуваясь, обливаясь потом, жара крепко обнимала нас, дождались железных вагонов, бегущих по рельсам в будущее, сели и поехали, и потряслись, и полетели. У брата, это было удивительно мне, уже водились деньги в карманах, как у того памятного богача; он купил нам настоящие билеты и настоящие пирожки с капустой в станционном буфете.

И стал я прислуживать в лазарете. Далеко от города, где жили мы с братом, шла война, и в лазарет наш то и дело привозили раненых. Я еще не знал тогда, что война идет всегда и раненых будут привозить всегда, во все времена. Я наивно думал: ну ничего, времечко пройдет, этот ужас скоро закончится, и наш лазарет превратится в обычный госпиталь, где будут лечиться все, кому не лень, не только солдаты и офицеры. Но плохое время все не кончалось, а крови лилось все больше, и вот наконец ее стало литься слишком уж много, и палаты не вмещали всех страждущих. Я еле успевал отмывать от крови крашенные масляной краской полы. Я белил оконные рамы и подоконники, когда в палату вбежала растрепанная девушка, лицо у нее было перекошено, как старая стреха, и провизжала истошно: люди! люди! вы слышали! революция!

Я не знал, что это. Воззрился на девушку, а она возьми и упади на пол плашмя и громко стукнулась головой об пол, я подбежал, а она уже закатила глаза, и тут я увидел, что у нее простреленный бок залит кровью, и кровью пропиталась длинная неуклюжая юбка, и она кровью своею захлебнулась. Это была вторая смерть, которую я зрел в жизни, после отцовской тихой кончины в родной избе.

Революция изломала прежнюю жизнь и соблазнила другой, несбыточной. Люди привыкали к новому порядку вещей; люди ко всему привыкают, и Миръ становится

единым лазаретом, где все страдают, вопят, смеются, молятся, едят, пьют, выздоравливают и умирают, но только никогда, никогда не воскресают. Я рос в лазарете, как фикус на беленном мною подоконнике. И я выросстал, и я осознал себя, лазарет и таинственный Мирь за окном, где бесконечно творились революции и войны; и я, ухаживая за ранеными, посильно участвовал в страшных и прекрасных событиях, ибо тот, кто живет, не может не жить, кто дышит, не дышать не может.

Я, молодой, хотел стать героем. Кто в юности не хочет стать героем! Врачи потихоньку научили меня не только мыть грязные полы, но и перевязывать раны, я помог хирургам на операциях, не падал в обморок при виде разверстых внутренностей, вовремя подавал иглу и кетгут, а иногда и скальпель, и следил острыми юными зрачками, как делает разрез хирург, что он находит внутри человека и вынимает, выдирает, выбрасывая в кровавый таз, а что накрепко сшивает, не разъять. Я все запоминал. Не думал, что это мне пригодится. Просто молодой организм как хлеб: его окуни в воду, он впитает воду, окуни его в рассол, он всосет в себя рассол, окуни в вино — он впитает вино. И станет Причастием. Святыми Дарами.

Красные полотнища вдоль улиц! Колыхание знамен, рук, голов на площадях! Народ наш стал морем. И я стал в народе волной. Я катился, накатывался на берег прошлого. Понимал: надо не наблюдать Время, а вбирать его, глотать! Иначе оно нахлынет на тебя и потопит тебя.

И настал день.

Я, санитарिशко, мальчишка, ассистировал маститому хирургу, а на ярко освещенном голом столе лежал голый человек, лишь ноги его были укрыты чистой простыней. Врач взмахивал изящными руками. Он дирижировал жизнью и смертью. Внезапно раздался сумасшедший звон. Будто массивная старинная люстра свалилась на пол из-под потолка. Я отскочил. Врач постоял немного над оперируемым, покачался странно, как пьяный. И повалился на пол. Искал рукой неведомое. Пытался разжать рот и вытолкнуть слово. И не мог. И на груди у него, по белому снегу халата, расплывалось алое дикое пятно. Это пуля влетела, разбила окно, вслепую нашла жизнь. Оборвала ее.

Хирург не терял сознания. Он глазами показал мне на стол. Протянул ко мне руку. В кулаке скальпель. Он тянул мне, мне хирургический нож! Острый, как молния!

Он все понимал, я — ничего. Я схватил скальпель и шагнул к столу. Раненый хирург пробормотал:

— У него пулевое... и у меня пулевое... оперируй... ты знаешь все...

Я поднял скальпель над распятым на чистом столе телом человека.

Тело человека — тесто. Его можно мять, шлепать, резать, крошить, кромсать. А что же тогда душа? Где она прячется?

Я спросил раненого врача, на полу лежащего в корчах:

— А кого сначала? Вот его, или, может, вас?

Я прохрипел эти слова, как древний старик.

И он выплюнул последнее хрипенье мне в ответ:

— Его... он уже готов... меня... разденьте...

Пока ошалевшие нянечки в белых фартучках стаскивали с доктора одежду, он умер. Я же в это время вонзил скальпель в тугую плоть человека и безжалостно разрезал ее, и было мне страшно, и я дрожал, будто стоял на берегу зимней зальделой реки под сильным ветром, и ветер валил с ног, а я все стоял и стоял, все резал и резал, и размал красное тесто голыми руками, и всхлипывал, и моргал, слезы ослепляли меня и заливали лицо, захлестывали, я ими захлебывался, а потом сосредоточился, стал яснее, тверже глядеть, я все помнил, что надо делать. И старенькой толстой нянечке, она ближе всех встала ко мне и тоже осиновым листом дрожала, я командовал, как настоящий

хирург: иглу... кетгут... Погас над операционным полем свет. Перегорела лампочка. Другая нянечка, молоденькая, девочка совсем, медленно подошла, зажгла керосиновую лампу и выше, выше, высоко подняла над нами.

Мертвого доктора, пока я оперировал, подхватили под мышки и под колени и унесли из операционной. Кто были эти люди, я не знал. Не понял. Я ничего не видел тогда, кроме красной, сочащейся кровью, как вином, плоти.

Так, доченька, я стал доктором, молодым, без образования, самодельным доктором, и я понял, мне надо учиться, и меня отрядили учиться, и я учился бесплатно, жалелись над сиротой, и взрослые умные, опытные врачи терпеливо, подолгу занимались со мной, да не только со мной, там, где обучали на врачей, много юношей толклось, клубилось. Днем я учился, а вечером пребывал в лазарете, война все шла и шла, и солдат все привозили и привозили, и коек уже не хватало, раненых размещать, и я вдруг решил: лучше я на войне пригожусь, поеду-ка я на войну.

Поздно вечером я еле ноги притащил домой, в нашу комнатенку, что мы с братом снимали. И сказал ему о своем решении.

— Я уеду на войну!

— Ты с ума сошел...

Брат долго и слезно говорил мне, что я юн, что я отрок, что мне рано.

— Я уеду!

— Жизнь твоя только началась, тебя убьют на взлете...

— Пусть! Зато я спасу жизни других!

— Дурак, их убьют следом, завтра...

Брат наливал мне в граненый стакан горячего чаю, я ухватывал кривую ручку подстаканника и хлебал крепкий чай, обжигая глотку. Тогда мы поссорились, накричали друг на друга. Напоследок, постлавши себе постель, брат угрюмо сказал в стену, не глядя на меня:

— Не спеши, будет еще война, тебя еще успеют убить!

А потом обернулся и бросил, как кость собаке, зло и насмешливо:

— И порезать и зашить целую толпу — успеешь.

<...> Я бы солгал тебе, дитя, если бы сказал: я не вспоминал жену и детей. Вспоминал! Но светились они сквозь времена словно бы в жизни иной, не моей. Я не умел тогда молиться, но я шептал: Господи, смилуйся, Господи, помоги бедным моим, дальним. Ножки твои замерзли? Дай укутаю их одеялом. Верблюжье, колючее, не греет, где они, милые, быстрые ноженьки твои? Умерли? Ах, нет, вот, живы, ну, грейся, согревайся. Плохо тут топят, печь дымит, а нынче она холодна, мертва. Да не будут топить, видать, мыслят так: всем болящим скоро помирать, нечего на них дрова тратить.

Молод я был! Любви хотел. В карман исцарапанного кошками кожаного пальто руку запускал и мял, сжимал билет на войну. Везде человеку нужен пропуск, билет, разрешение. Пешком на войну слишком долго было идти. А я трясся в железном вонючем вагоне и думал о любви. Надо ведь жадному молодому сердцу любить, без любви оно прах. Я шарил глазами по населению вагона: тот старик, эта старуха, в руках корзина, капустными листьями укрытая, за ними юноша, молочные губы, кисельные щеки, а где же та, о которой я буду мечтать? Твердил себе: мечтай о супруге, это законно, прилично, — но ветер жизни налетал иной, он сдирал с лица старую краску, обрушивал древние стены прочной кладки, и вниз, к земле, по кирпичам лились потоки крови — моей, чужой, небесной. И кровь, распалаясь, текла во мне другая. И все чаще я видел картины, которые видеть человеку нельзя, иначе он потеряет разум.

Я многого хотел. На многое надеялся. Чтобы возлюбить людей, утешить их и обласкать, я ехал на войну. Война, царство смерти, манила меня новой жизнью.

Если совсем уж честно, я хотел узнать тайну смерти.

Я, молодой врач, уже зревший сто разномастных смертей, ее не понимал. Зачем она? Как она происходит? Почему мы вытаскиваем человека из ее объятий, иной раз больно, насильно? Зачем исповедаться перед смертью? Зачем прощаться? Где предстоит встреча?

И еще тьма вопросов жгучими пчелами летала, жужжала вокруг моей дорожной бессонной башки, и не было мне на них никакого ответа.

И вот когда наш поезд, перестукивая громадными железными колесами и всеми стальными потрохами, гремя деревянным утлым скелетом, позванивая жестяными и картонными перегородками ящиков-вагонов, где ютились мы, бедные скитальцы, наконец, весь в саже и дымах, осторожно, как мышкующий лис, подкрадывался к последнему перрону, я вдруг увидел ее.

А вот не надо было видеть.

Надо было закрыть глаза.

Но и с закрытыми глазами я бы ее увидал.

Русая коса, туго заплетенная, с затылка перевалилась на плечо, текла по груди. Грудь дерзко-высокая, два наметенных за зимнюю долгую ночь сугроба. Щеки бледные, на скулах еле видный, призрачный румянец, потусторонний. Глаза медленно перевела от окна, куда глядела неотрывно, на меня. Я чуть не закричал: меня обожгло чистой небесной синевой. Я и не думал, что живые радужки могут хранить внутри такую богородичную синь. Подняла руку и поправила пшеничную длинную прядь, завернула за ухо. Голова непокрытая, шубейка расстегнута, кудрявая овечья шкура радостно выворачивается наружу. Я различал капельки пота у нее над губой. Не помню, рот улыбался или был скорбно сомкнут. Только небесные глаза летели сквозь меня. Я прочитал в этих странных, иномирных очах лишь одно, ужасающее, желанное: Я ТВОЯ ДУША.

Душа? А где она?

Что такое душа?

И зачем она в теле живет?

Мои глаза вливались в ее глаза, поселялись там навек, жили, плавали, вспыхивали, перемещались, припоминали, забывали. Из ее синевы покатались светлые слезы, и я заплакал. Слез моих я не стыдился: разве себя перед своею душой стыдятся?

Она чуть выпрямилась, и я увидал, какая она мощная. Спину выгнула. Сильная стать. Крепкая, тяжелая и радостная лепка лица. Щеки зарозовели сильнее, зарей в полях. По полю ее груди могли идти кони, коровы, молчаливые люди — вдаль, далеко, к новым небесам. Складки холстины струились, сама себе она в полутьме избы пошила платье, сама износит, сама сошьет и саван, когда время придет.

Я встал с соломенно-желтой деревянной скамьи и направился к ней. И пока я шел, я видел: тает лик, тают сильные рабочие руки, разымается на туман и тучи щека, заволакивается пеленою снега ясная слепящая синева. Где ты? Где ты, моя Душа? Зачем я не спросил тебя о главном? Куда мне идти? Прав ли я, что выбрал такую жизнь? Или это жизнь сама, смеясь надо мною во весь голос, выбрала меня?

Я растерянно стоял около пустой скамьи. Возможно, красивая синеглазая молодуха вышла на недавней остановке. А я не заметил, как железная гусеница встала, постояла, потом опять покатила вперед. Все вперед и вперед. Все вдаль и вдаль.

Для себя я назвал красавицу Душенькой. Душенька, Душенька, шептал я, ты же моя Душенька, как же долго я жил без тебя.

Поезд содрогнулся и остановился.
Дальше не поехал.
Мы прибыли на войну.

<...> Солдаты соорудили мне в огромной, как цирк шапито, палатке хирургический стол — необъятный, как зимнее тоскливое поле в играющей обезумевшими звездами ночи, когда нельзя до дна вдохнуть мороз: обожжешь легкие. И без перерыва, дико, скорбно и умалишенно, все несли и несли, все тащили и тащили мне на этот стол раненых. Пока они жили еще — раненые. Если я их не прооперирую, через минуту они будут трупами. Я это понимал! И руки мои наливались чугуном ярости. И когда я взмахивал руками, обтянутыми резиновыми перчатками, над разъятым операционным полем, они, руки мои, становились легкими перьями, облачными крыльями, птицами в приговоренной к черной казни синеве. И летали. И точно хватали, и жестоко и быстро резали. И шили, шили, шили.

Кройка и шитье.

Опять полостное ранение, и опять пуля застряла глубоко, в потоках крови, мессе мышц ее не так-то просто изловить. На войне ничего не происходит случайно. Особенно смерть. Говорят: вот, он пошел в бой, и его случайно подстрелили! Нет. Ему все было назначено. Война — слишком многозубый гребень, а коса Времени слишком густа. Мы издаем крик, когда гибнем. Я слышал эти последние крики. Я видел, как на моем рабочем громадном столе, под моим узким зрячим скальпелем, мечется человек, предсмертно хрипит, прерывисто вздыхает, охваченный страхом, тоскою, ужасом. Это ужас перед вечностью. Вечность совсем не высока, она не подобна небу. Она страшна и уродлива. Ибо для многих она — пустота. Под моей рукой, во вскрытой грудной клетке, билось и дрожало чужое сердце. Разрезана брюшная полость, сломаны ребра, надо делать прямой массаж сердца, иначе оно остановится от болевого шока. Может, сделать укол камфоры прямо в сердечную мышцу? Я твердил себе: мышца, мышца, это всего лишь кровавая мышца, — я приказывал подать мне один препарат, другой, солдаты толклись рядом серой призрачной мошкаррой, и каждый из них был человек, и они смотрели на распяленного на деревянном столе человека, и гадали, выживет или не выживет. А сам раненый с ужасом глядел на меня. На скальпель в моей занесенной над ним руке. Поворачивал голову. Оглядывал стол, резиновые трубки, хирургические железяки, веревки, коими был к столу крепко привязан, чтобы вдруг не дернулся от жуткой боли, не свалился наземь. В мечущихся туда-сюда его глазах я читал: вы не врач! Вы сатана! Вы стоите у входа в Ад! Вы меня не спасете, а прямо в горловину смерти введете! И бросите там! Навек! Навсегда! Дигоксин, кричал я, быстро мне дигоксин! Солдат, что мне ассистировал, в миру учился на врача и разбирался в названиях лекарств. Он набирал снадобье в шприц и протягивал мне, не глядя на меня, а глядя на раненого. На умирающего.

Белый халат. Белая маска. Я не должен дышать на больного. Иначе я могу его заразить; а вдруг у меня грипп? Раненый начинал мотать головой из стороны в сторону. Будто гневно, полоумно отрицал нечто, отвергал. Таким движением можно вызвать у себя сильнейшее головокружение, опьяниться, забыться, потерять разум. Резиновые перчатки обтягивали мои руки, будто их окунули в клей, и они высохли, и пальцы слиплись, надо их растопырить, две пятерни. Я поднимал обе резиновые руки над красным ковром пульсирующих внутренностей. И нечем, нечем мне было больного усыпить. На время? Навеки?

— Тебе холодно?.. Ты согреться хочешь... согреться... Ребята, закутайте ему ноги... ну хоть чем... хоть курткой, хоть портками...

Я работал. Солдат, что в иной жизни учился на врача, зажимал кровеносные сосуды, чтобы операционное поле не заливалось кровью. Кровь, священная жидкость. Китайцы учили о священных жидкостях в теле человека: кровь, лимфа, сперма, слюна. Другой солдат заматывал ноги раненого в его же, насквозь пропитанные и заляпаные кровью, камуфляжные штаны. Но и это было ужаснее всего, я понимал, я сердцем читал это в его все тише бьющемся сердце: все напрасно, не жилец.

Мотор жизни. Как он хорошо, жестоко работает. Неостановимо. И вот останавливается. Всего лишь миг! Я, хирург, разрываю острым тонким ножом чужое тело на части. Потом эти части сшиваю. Разве сердце страдает? Разве болит и плачет душа? Плачут глаза, болит тело. Сердце испытывает тоску... разве это не обман? Самого себя и других? Тоскует наша мысль, не находя выхода, утратив радость существования. А сердце, вот оно: мешок с кровью, и бьется ритмично, сдвоенно, систола-диастола, и больше ничего.

Не уходи! Парень, не исчезай! Куда ты!

Я всадил иглу прямо в этот плывущий в крови живой корабль, в этот треугольный, залитый красной болью кисет, лекарство медленно уходило из шприца в глубь чужой плоти, плоть пила последний напиток, последнюю надежду, а я надеяться уже перестал. Не зверь, а человек умирает! Но ведь зверь умирает так же! Ему больно! Ему тошно! Страшно! Тоскливо! Какой ужас: больной не теряет сознания, стоп, подожди, еще не началась агония, ох, какая уж тут, к лешему, агония, сейчас все произойдет, очень быстро, быстро и просто, не успеешь оглянуться!

Сердце, сосуды, артерии и вены, мышцы, мускулы, кости, я все для вас сделал, все сделал, все...

Еще есть рефлекс. На прикосновение. На укус иглы. Есть еще. Есть.

Все медленнее. Все тише. Все безысходней. Все нежнее.

Я положил скальпель рядом с ним. Около его головы. Живой маятник замедлял ход. Мне почудилось: его череп медный. Послышалось: кость звенит, ударяясь о пахнущий гарью воздух.

<...> Ночь тоже билась над нами, замершими в спальных мешках в палатках, всеми своими звездами. Я не спал. В открытые глаза втекала тьма. Я встал, надел теплую куртку и вышел вон. Сам себе казался медведем, что выполз из берлоги посреди зимы. Ветер крутил прозрачную поземку. Иней расписал узорами впадины и трещины земли. Звезды мерзли, дрожали над полем и бессильно падали в воронки от снарядов. Я стоял без мыслей, без чувств. Лучшее, что я мог сделать на войне, это перестать мыслить и чувствовать. Если буду мыслить и страдать, не смогу оперировать. Лучше так. Свободно. Спокойно. Над полем. Стоять, как лететь.

Я глядел в Миръ, убитый войной. Вдруг с неба стал сочиться тихий свет. До рассвета еще далеко. Взрыв? Пожар? Оружейные склады горят. Или бомбят ближний город? А мы тут, в поле, спим.

Свет разгорался и приближался. Он был плотным, хоть и бестелесным, нежно мерцал и снова затихал, становился ровным: струением позолоты, льющимся молоком. Он все сильнее, а я все растеряней. Я испытал страх, но не тот страх, когда в тебя летит бомба, пуля. Другой. Когда я почуял исходящий от света жар, меня будто кто невидимый в спину толкнул. И я повалился на колени.

Перед светом.

Деточка, ты вставала когда-нибудь на колени? Да? Тогда ты знаешь это чувство. Ты молчишь, а изнутри тебя поднимается голос. Он твой и вроде бы не твой. Извне. Он звучит в тебе все громче. Ты радуешься ему, и ты ужасаешься его. Голос звучал и во

мне. Зимнее поле со всех сторон охватывало меня молчанием. Небо обнимало меня вечным молчанием, и оно ужасало меня. Я глядел вверх, и звезды меркли, ибо свет разгорался. Волосы на голове моей поднялись. Голос звучал теперь не только внутри меня, но и рядом, поблизости, и кругом, и везде, и вот он поплыл на меня с небес. Голос стал всем сущим: полем вокруг, моим прошлым, моим вчера, моим пугающим, в облаках танцующим завтра, жизнями людей, сверкающими инструментами, коими я дирижировал чужой болью и счастьем, возрождая или убивая. И я смирился перед ним, и я склонил голову перед ним. И я запоминал все, что он говорил мне.

И голос говорил.

И я слушал.

И по мере того, как я слышал и слушал его, я стал молча ему отвечать.

Мы говорили.

ЗАЧЕМ ТЫ НЕ ВЕРУЕШЬ В МЕНЯ? СМЕЕШЬСЯ НАДО МНОЙ?

Я не смеюсь над тобой. Я не знаю, кто ты.

ТЫ ВСЕ ЗНАЕШЬ, КТО Я.

Не ведаю. Прости меня.

Я ТОТ, КТО ПОД ТВОИМИ РУКАМИ УМЕР СЕГОДНЯ. Я ЕГО ДУША. Я ЕГО СЕРДЦЕ.

Быть не может. Человек умирает навсегда. И не становится светом. Его в землю кладут и землей засыпают.

Я ЕСМЬ ВСЕ ЛЮДИ.

Не может быть. Каждый человек отделен. Каждый человек — это Мирь.

Я ЕСМЬ ЗЕМЛЯ, ВОДА, КАМНИ И ВОЗДУХ.

Ты свет, я это сейчас вижу. Ты не камень и не земля. Эта земля полита кровью. Мы ложимся в нее, убитые.

Я ЕСМЬ ОГОНЬ И НЕБО.

Ты льешься с неба, я вижу. Свет и огонь, они братья.

Я ЕСМЬ ВСЕЛЕННАЯ.

Не верю. Ты просто свет.

Я ЕСМЬ ПРОСТРАНСТВО.

Что такое пространство?

Я ЕСМЬ ВРЕМЯ.

Как тебя исчислить? Запомнить?

Я ЕСМЬ ТВОЯ КРОВЬ. ОНА ПОМНИТ ВСЕ.

Кровь вытечет, если перерезать жилы.

Я ЕСМЬ ТВОЙ ГОСПОДЬ.

<...> Господи, сделай так, чтобы я мог всю мою жизнь оперировать людей. Лечить. Лечить людей, это высшее благо. А еще дай мне, прошу, особый дар. Только не смейся надо мной, Господи. Я хочу видеть Время. Провидеть его. Глядеть в его соленое колыханье и зреть, что там, в синеве, в клубящейся тьме, на самом дне. Где камни, водоросли, мох, искры мальков, живые бинты миног и угрей, глубоководные чудовища. Люди не ведают Времени. Потому что они его не любят! Время слишком страшно. Оно то разывается, то смыкается. Говорят, в чужестранных морях, на большой глубине, ютится меж камней огромный моллюск, и, если нога или рука бедного ныряльщика попадет между его открытых створок, они жадно захлопнутся: чудовище поймает еду, а пловец закричит истошно, да крика под водой никто не услышит, и, пока он будет, теряя мысли от боли, подниматься на поверхность воды, за ним потянется красная мантия крови. Она тут же растает в изумрудной толще огненным при-

зраком. А человек вынырнет, солнце ударит его в лицо, но он все равно умрет. Умрет от болевого шока либо от потери крови. Я знаю.

...Нет. Он умрет потому, что пришел его срок.

И Господь его взял к Себе.

...Господи, а еще сделай так, чтобы я по-новому ощутил жизнь и смерть. Я молод, но я уже так устал! Я хочу понять смерть. Иначе, чем вчера. Я ее боялся. Она была мне противна. Я с ней смирялся. Я от нее отворачивался. Я относился к ней холодно и спокойно, старался ее не замечать, хотя и принимать к сведению. «Доктор! Доктор! Сегодня в третьей палате умерла больная, от перитонита, гной откачали, но не отвратили сепсис, заражение крови, высокая температура, несовместимая с жизнью. Экзитус леталис». Летать, улетать! Латынь тут ни при чем. Я иногда даже улыбался, когда медицинская сестра давала мне отчет о жизнях и смертях в моем лазарете. Никто не спрашивал, почему я улыбаюсь, не говорил, что это невежливо или глупо. Мало ли что человек вспомнил, слушая речь о том, как другие умерли. Другие! Но не я. Не я! Не я! Я не умру!

Господи, да ведь и я умру. И все мы умрем; в особенности бойцы, здесь, на войне. Я среди солдат сам солдат. Я воюю со смертью. Каждый день, а то и ночью. Операционное поле освещают походными лампами. Иногда свечой. Живой огонь тоже позволяет увидеть детали внутренностей. Определить, что там, внутри у жизни — флегмона, карбункул, остеомиелит, свищ. Господи! Дай мне обнять смерть. Сделай ее моей подругой!

И главное, Господи, дай мне узнать, что же такое душа. Что такое дух! И, озаренное ими, бестелесными, изнутри навек, на все посмертие, что же такое тело! Что есть наше тело, хилое, слабое, дрожащее, крепкое, богатырское, все перекачивается играющими мышцами, никнет увялым стеблем, тело зверское, тело хищное, тело просящее, тело молящее, тело беспомощное, тело помогающее, тело плывущее, тело застылое, тело обнимающее, тело убивающее! Все, что делается на земле, делают тела! Перемещаются в пространстве, сетуют на Время! Бормочут живым ртом то хвалы, то обиды! Сжимают в живых руках вечную любовь, а завтра с нею простятся навсегда! Хочу понять, что же тело такое! Почему я его оперирую, холодно прищурясь, а огонь горит во мне, внутри, горит там, где у меня сердце, под ребрами, и если я ошибусь, если плохой разрез сделаю, бесстрашно не выну червеобразный отросток ужаса, боли, тьмы, не выдеру вон из распластанного на столе человека, огонь во мне погаснет и сам я почую смерть. И это я нынче умру. Отойдя от стола, будто палач от эшафота. И это я нынче не воскресну. Господи! Дай мне понять, что такое душа, и, может, это она во мне на всех моих операциях горит!

Дух, а что есть дух, Господи?! Не Ты ли сам и есть наш дух? Всеобщий дух, всесветный! Всемирный! Необъятный! Да мы и не стремимся Тебя обнять. Я понял: перед Тобой склониться надо! Вот так, так стоять на коленях, и это не стыдно, это не смешно, это не мучительно, а радостно, счастливо, так упоенно впервые мне молиться Тебе, что я теряю от Твоего небесного праздника разум! Да разум мне и не нужен. Он мне нужен, чтобы наблюдать сочленения костей и перевивания кровеносных сосудов! А так — никакого не хочу разума! Зачем мне оно! Сопоставлять? Решать? Загадывать? Разрезать плоть жизни вдоль и поперек? Да, я есмь хирург! Я острый, опасный скальпель! Я режу, кромсаю направо и налево! Я страшен. Для врагов. Ибо я вооружен. Смерть — враг? Да первый враг! Самый главный! Человек только и делает, что борется со смертью! И все равно умирает.

Господи, дай мне храбрость и спокойствие глядеть прямо в безносый череп смерти! Не убоюсь ее. Приму ее. Только, пока я жив и топчу землю, не дай мне умереть: при жизни. <...>

НИКОЛАЙ

<...> Эфир. Нежное название. Ночной зефир струит эфир. Да, помню. Еще со школы.
— Не охай! Не стони! Оперировать буду.
— Когда, доктор?
— Да сейчас. Время не терпит.
— А больно будет?
Все боли боятся.
Пока живы — все боятся боли.
— Нет. Не будет. Ничего не почувствуешь. Уснешь просто, и все.
— Как это усну? Я спать не хочу!
— Мы тебя усыпим.
— Усыпите? Гипноз, что ли? Или выпить дадите? Так я еще хуже разбушуюсь!
— Маску наденем на морду, особую, польем особым лекарством. Только дыши глубже. И ничего не бойся.

Они все все равно боятся. Я сам боюсь. Сколько бы операций ни делал.
На лице солдата маска Эсмарха, он в ней дик и страшен, как марсианин. Сестра подносит эфир. Время, проходит время. Ждем. Солдат сначала бормочет невнятно, потом вопит душераздирающе, потом утихает. Ждем еще. Хрипит. Спит. Спит? Да вроде бы. Всякое бывало. Спит-спит, я оперирую, и вдруг больной как взовьется! Голубем белым и вот-вот в небеса со стола взмлет. Ну, начнем! Скальпель. Острый. Будто железную молнию в тело всаживаю. Сам себе Богом кажусь. Ну, глупости. Никакого Бога нет. Все это сказки, про богов. Люди сами себе утешение в скорбях выдумали. Чтобы сильно не плакать по ночам. А, к примеру, молиться.

Режу. Вынимаю. Сестра умело орудует зажимами. Вынимаю. Бросаю. Режу опять, разрез маленький, надо расширить. Вынимаю. Последний осколок нашел. Выкинул. Все. Можно шить. Только бы у больного сердце не остановилось. Мышцы у такого силача под наркозом как тряпки. Спит крепко. Проснется ли? Может, мы с эфиром переборщили?

— Йод! Где йод! Бинты!

Поливают йодом. Накладывают стерильную марлю и бинты.

Я оставляю сестру рядом со столом. На столе лежит и спит человек. Я его только что спас. Или погубил. Я еще не знаю. Сестра восторженно, во все глаза, смотрит на меня. Сейчас больной проснется, и его будет рвать. Рвота, наркоз отходит, обычное дело. Нужна миска. Или там кастрюля. Или таз. Таза нет. Не подумали. Не приготовились.

Солдат медленно поворачивает голову на железяке стола, и его бурно рвет. Всеми внутренностями. Всей проклятой войной. Всей святой войной.

Я оборачиваюсь в дверях. Сестра вытирает рот солдату марлевой повязкой. Краска на щеках прожигает ей маску.

— Ой, Николай Петрович... простите... мы не подумали... не подготовились...

Я ухожу. Я не могу говорить. Я онемел. Сил нет.

Я его спас или я его погубил, я не знаю. Ближайшее будущее покажет. Хирургия — это не наука. Это искусство. Намалюешь картину жизни или нет: наоборот, уродливо зачернишь.

Когда мои первые неудачные солдаты умирали, я плакал, как мальчишка после драки. Я имею дело со смертью, и я не знаю, что такое смерть. Ужо узнаю, когда ко мне придет. А может, помолиться? Надо научиться.

А может, я эфира нанюхался.

Если мужик умрет, пойду, налью в мензурку спирта и тяпну. Может, легче станет. И выкурю папиросу. У меня еще остались.

<...> Расскажу о прошлом, да оно так близко, что тебе настоящее, оно было вчера, еще свеженькое, еще болит, свежая рыба, только выловили, бьет хвостом, это моя мысль бьет мне в череп. Просит выхода. Надо нацарапать эти закорючки. Эй вы, будущие! Если вы будете. Прочитайте, а!

Я покинул госпиталь и вышел на берег неширокой речонки, покурить. А точнее, побыть один. Побыть одному на войне не удается. Ты все время среди людей. Стою, смолю, и тут на меня из-за кустов — прыг! Руки за спину, связали, по земле ногами волокут. Речь вражеская. Гады! Я понимаю: меня схватили, потащили, не шлепнули, значит, допрашивать будут. Форма на мне офицерская. Я вырываюсь. Мне по голове тяжелым стукнули, я отключился. Очнулся в полутьме. Керосиновая лампешка. Пламя бьется, краснеет, гаснет, опять разгорается. Глаза привлекли к темноте. Вижу: штаб. На стенах плакаты с черными пауками. Лают по-ихнему, аж захлебываются. Меня под мышку, поставили перед офицером, за столом сидит, морда шире варежки, три подбородка, зуб золотой. Скалитесь. Гав-гав-гав-гав! Я немного знаю их собачий язык. Перевел сам себе. Спроси, где, в каком селе спрятаны наши зенитки и где стоят наши части! Это он толмачу бросил. Тщедушный богомол, скрюченный стручок, пролаял по-русски: отвечаль, какой деревень сенит орудии и ктэ эст руссише зольдатен! Я усмехнулся. Страха смерти не наблюдал в себе никакого. Ни малейшего. Держи карман шире, толсторылый офицерчик! Буду молчать до последнего. Хоть замучь! Запытай!

<...> Резали долго. Со вкусом. И так, и эдак. Вырезали на груди фигуры. Знаки, я в зеркало рассмотрел потом раны. Вражеский паук. Наша звезда. Лезвие втыкали глубоко, смачно. Кровь текла медленно, обильно. Я чувствовал ее тепло. Временами я даже не чувствовал боли. Я думал: только бы не ткнули нож вглубь, за грудину, и не добрались до артерии. Я боялся потерять сознание. Быть без сознания, ведь это почти умереть. Живи, заклинал я себя, только живи. Держись!

И я держался.

В борьбе с болью я забыл, что рядом, на топчане, лежит неведомый врач, и нога у него прострелена. Я скосил глаза и увидел: он пристально глядит на меня, и глаза его полны влажного ужаса. Лицо все бородой заросшее. Я-то брился каждое утро. А может, у него бритвы с собой на войне не было.

Меня ударили сапогом под ребра. Толстяк орал на своем песьем языке. Толмач выкрикнул: хотеть шить?! убить он!

И показал пальцем на лежащего на топчане.

<...> Когда я стрелял, я зажмурился. Открыл глаза. Военврач сполз с топчана на пол. Он лежал под моими ногами, халат задрался, я видел латанные на коленях портки. Текла кровь, уже останавливалась, пятно расплывалось по штанам, по халату, из простреленной не мною ноги. Врач поднял руки и зажал ладонями уши. Он оглох. Пух летал по штабу. Я выстрелил и попал в подушку, а целился в голову, чтобы убить наверняка. До сих пор не знаю, рассчитал я это, совершил бессознательно или просто рука дрогнула от неведомого, дикого страха.

Страх пришел, он пришел поздно, навалился на меня, загрыз меня.

Страх и стыд.

Я похвалил себя: правильно сделал, что выстрелил в подушку.

Нас потащили по полу из штаба вон, в сарай.

Дух гнилой соломы. Кровь льется из порезов, медленно сворачивается, подсыхает. Свертываемость у меня была всегда на высоте. Рабочие тромбоциты.

Мы сбежали. Уползли из сарая. Посреди ночи. Выломали ветхую доску. Под нее подлезли. Ползли. Не знали, куда. Потом чуть окрепли, поднялись на четвереньки, встали на ноги. Ковыляли, опираясь друг на друга.

Друг. На друга.

Слух к врачу возвращался. Враги за нами погоню не отрядили. Скорей всего, они побежали в другую сторону, а множества людей, чтобы тщательно прочесать окрестности, не было в их распоряжении. Мы добрались до чахлого леска. Тонкие кривые березы молили тусклое небо о помощи. В лесу мы чуть не утонули в болоте. Еле выбрались, оба в тине по уши. Бородатый врач, казалось, забыл, что я в него стрелял. А может, и правда забыл. Нечем было развести костер и согреться. Нечего было есть. Живот подвело. Тошнило от голода. Еще не хватало голодной рвоты желчью. Мы еще не звали друг друга по именам.

Пока мы пересекали леса и холмы, поля и овраги, мы сдружились. Мы оба слушали, в какой стороне стреляют. Наши госпитали находились близ линии фронта. Нам надо было вернуться. И мы старались вернуться. Без компаса, вусмерть голодные, изгвазданные в болотной грязи. Мы дошли до реки, и мы узнали берег. Хорошего круглая мы дали. Да все-таки выбрались, куда надо.

Бородатый врач сказал: Бог помог. Я засмеялся. Сказал: не Бог, а судьба. Он мне, серьезно так: судьба — это Бог. Я ему, насмешливо: да что ты говоришь? Мы оба перешли друг с другом на «ты». На берегу речонки нашли останки рыбацкого костра — хворост, головни, угли, пепел, серый круг на холодной земле. Я отыскал сухих веток, два камня, бил-бил о камень, высек искру. Ветки чудом запылали. Шел низовой легкий ветер. Он пах весной. Костерок с трудом разгорелся. Мы сидели у костра, расслабляться было некогда, согрелись и опять подтащили веток и щепок. Огонь хотел жрать, и мы тоже. Я зашел в сапогах в воду. Около берега стояла сонная рыба. Я поймал ее руками, вернулся к костру, смеясь. С рыбы капала яркая вода. Выходило солнце. Мы испекли рыбу в золе костра, на углях, и ели, глядя друг на друга, будто молились вместе.

Черт, я никогда не молился. Даже перед сложнейшей операцией. А вот он, видать, молился. Ну, по всему видно, верующий. Да ведь Бога-то никакого нет! Это даже дети знают в нашей стране!

Рыбу съели, побрели по берегу. Мы теперь знали, куда идти. Впереди поднимался в небо дым. Это топили печь в моем госпитале. А твой где? — спросил я врача. Мы в палатках и двух бараках, там, он махнул рукой, вверх по течению.

Поравнялись с госпиталем. Осыпалась северная стена. Бомбили. Гаденыши, бомбят раненых и врачей. По всем конвенциям такого делать нельзя. А вот делают. Наглецы. Война, разве у нее есть совесть? Совесть, она для мирных времен. Я обернулся к моему другу и протянул ему руку. Я, его убийца. И он пожал мою руку. Крепко.

Так стояли. Не могли разомкнуть рук, они будто слиплись.

— Ну, прощай.

— Прощай.

— Ты пока тут?

— Тут. Может, перебазируют, не знаю.

— Господь помоги тебе.

Я усмехнулся. Что надо ответить? «И тебе»? Но это будет вранье.

— И тебе.

Теперь улыбнулся он. Сквозь страшную бороду. Леший.

— Как я тебя найду? Хоть фамилию скажи.

Я сказал.

Потом спросил:

— А твоя?

Он назвал себя. И номер госпиталя.

Я все запомнил.

Он тоже все запомнил.

На войне память обостряется. И записной книжки никакой не надо. Все в голове.

Я не знал, что его из военного лазарета направили в столицу, там он принял сан и стал священником, а потом его арестовали.

АЛЕКСЕЙ

Сестры. Мои сестры.

Ну да, я так и называл их — сестры мои; конечно, они были чьи-то чужие сестры, и дочери, и матери, а мне они были, мне, военному хирургу, сестры милосердия.

Милосердие! Самое драгоценное, что есть на земле у человека к человеку. Человек человеку передает тепло. Тепло источает свет нежности, нежность тихо мерцает любовью. Так замыкается круг. Это как годовой круг, Божий круг, коловрат. Время идет по кругу и вдруг распаивается огромными вратами.

Сестры. Сестры мои.

Сестры милосердия.

В лазарете у меня, под боком моим, рядом с операционным столом моим; на поле боя, когда нельзя в рост идти, только ползти; в белых халатах, и вот они уже в грязи и крови; и красный крест на рукаве. Красный Крест. Родные, вы ведете войну со смертью не в бою, не под грохот снарядов — здесь, за врачом столом. Скальпель! Иглу! Кетгут! Веди бой за жизнь. За эту жизнь. Именно за эту. Ты не знаешь, кто умер вчера, кто умрет завтра. Здесь. Сегодня. Сейчас. Эту жизнь — спаси.

Война, она только началась. Недавно. Вчера. Или века назад? Поток раненых шел стеной. Река орущих, плачущих от боли людей. Русло неостановимой крови. А нам ее надо останавливать. Марлю! Жгут! Бойцы умирали у нас на руках. Сараюшка на окраине села — наш лазарет. Палатки в поле. Бараки на краю оврага. Какая там больница! Какой госпиталь! На войне как на войне. А как оно — на войне? А вот гляди. Таблетки! Закончились, товарищ военврач. Инъекцию кордиамин! Закончился. Тогда адреналин! Есть еще. Есть.

Господи, доктор, болит... как же болит... сил нету, больно как...

Усни, солдат. Усни.

Уснул. А утром — не проснулся.

А мы, сестра, к столу. Стой! Не падай! Валидол под язык. И, знаешь, у меня для тебя, сестра, есть подарок. В кармане халата завалился. Не побрезгуй. На. Держи. Кусочек сахара. Ой, доктор... вам самому — нужно...

Отступаем! Сворачиваем лазарет! Зачем отступаем? А ты что, хочешь, чтобы нас всех тут перебили, как цыплят?! Враг наступает. Мы отступаем. Ничего! Когда-нибудь будем наступать! Это война. Доктор, а как же недвижимые раненые! Бросать. Бросать, сестра! Я не могу, доктор! Они так смотрят! Они кричат!

Доктор! Доктор! Сестра! Сестриченька! Не бросайте нас! Не бросайте! Зачем вы уходите! Как мы без вас! Нас же убьют!

Товарищ военврач! Я с ними остаюсь!

Господи, убьют и тебя. Собирайся! Уходим! Это приказ!
Нарушение приказа — трибунал!
Не уйду! Расстреляйте меня! Без всякого трибунала! Вот он, он так глядит! Душу вынимает!

Одна моя сестра вынесла из боя десять раненых. Втаскивала раненого на расстеленную на земле плащ-палатку и тащила по грязи. Ползла по земле и тянула. Ползла и тащила. Господи, приставь сестру мою к медали! Ты же можешь. Ты же сможешь.

Что у тебя в санитарной сумке, сестра моя? Йод. Вата. Бинт. Марля. Спички. Вода. Больше ничего.

Если повезет, и командир сунет исподтишка, вбок равнодушно глядя, флага со спиртом.

Нам, хирургам, спирт давали под расписку. Впрочем, как и все остальное.

А бинтов и марли не хватало. Сестры на бинты рвали все, что под руку подвернется. С мертвецов белье стаскивали и им раненых перевязывали. А бывало, сами раздевались и с себя бельецо снимали. И рубашонками своими рану обматывали. Еще теплыми рубашонками... тепло девичьего тела хранящими...

Сестры мои! Сестрички! Бомбили, стреляли, взрывали нас, и вы погибали. Родимые сестры мои! Я вам сам глаза закрывал. Шептал над вами: Господи, будь Ты им проводником в Миръ Иной. А как там, в Мире Ином? Так же, как у нас, или лучше? Райский там Сад или война грохочет, как и здесь, и рушатся дома, и вопят перед смертью люди? Да нет, не люди, конечно... их души... а души, говорят, бессмертны... ну от боли, от боли-то они ведь могут кричать...

Милые, девушки мои, девочки ангельские, светлые! Вот ты, да, ты. Ангел в окровавленном халате! Сегодня придет санитарный поезд. Нам надо доставить раненых к железнодорожному полотну. На чем? Машину разбомбили. В конюшне, близ околицы, стоит лошадь, впряженная в телегу; позаботились, для нас запрягли; а сколько раненых мы можем уложить в телегу? Раненые, ведь это не дрова. Десять человек? А сорок здесь останутся? Два, три, четыре раза съездим, сколько понадобится. Пока едем, на лошадушке трюх-трюх по дороженьке проселочной, нас летчик увидит, вон он летает, бомбу сбросит! А река рядом, жаль, мелкая, мутная, не судоходная. А то на катере солдат бы увезли. Плыви, плыви, кораблик, кораблик золотой. Вези, вези подарки... подарки нам с тобой...

А тут близко от нас расквартировался в избах казачий полк. Казаки, в папахах, и с саблями! Сестрички смеются и плачут: какие сабли, тут танки тебя в кровавый блин раскатают, какие папахи, без каски не обойтись. Сами-то девчонки в касках. Иногда из касок едят. Повар на кухне суп в каски половником из котла наливает.

Сестры мои, все в руках горит, кипит, перевязки как заводской конвейер, мне некогда рану зашивать, к другому солдату и другой ране перебегаю, от одного края стола до другого, а сестра, гляжу, уже шьет. Шьет! Рану! Сама! Кетгуттом! Да как умело затягивает! Сестра! Раненому слева, у окна, обезболивающее, укол! Есть, товарищ военврач!

Колет умело. В вену попадает с ходу. Да все попадают. Наловчились.

Милые, шприц — ваше оружие. Бессонная ночь с криками боли — ваш бой.

Уходят солдаты в ночь. В разведку. Медикаменты вчера привезли, отлично, а то вместо анальгина — щепку в рот, и грызи, друг, чтобы от боли не орать.

Раненые. Убитые. Здоровых нет. И сестры, сестры мои.

И страшно, страшно и больно, страшно и мужественно, страшно и молитвенно. Страшно, а жить надо. И — живем. Под пулями. Под бомбежкой. Под огнем. Милосердие! Как без тебя жить! Тобой живем. Все раненые — родные. Им все медсестры —

родня. Сестричка, наклонись, дай тебя поцелую! И наклонялись сестры мои. И целовали их раненые. Умиравшие — целовали. Как в церкви: в щеки, в лоб, со слезами. Как в Пасху. Предсмертная Пасха. Господи, и Ты видишь это.

Врага одна сестра моя на плащ-палатке в лазарет приволокла. Наклонилась, разрежала скальпелем ему портки, хотела рану обработать и перевязать, а тут солдат с койки завопил: сестричка, эй, берегись, убьет! Сестра вскинулась, а вражина рукою с ножом уже взмахнул над ней. А тот солдатик, с ближней койки, уже вытащил из-под одеяла пистолет и пулю в гада всадил. Сестру спас. Сестричка села на пол, ноги подкосились, и плачет. Рядом с убитым врагом. А солдатик ей: не плачь, сестренка, мы еще повоюем!

Всем по сто грамм спирта выдавали. Сестры мои сливали втихаря свои сто грамм во флаги, чтобы потом давать раненым бойцам. Флягу с собой брали, когда ползли на поле боя, раненых спасать. Вливали им в рот глоток спирта. И мертвые — оживали. Глядишь, сестра обратно ползет, на плащ-палатке за собою раненого тянет. Живой! Дышит! Губы спиртом пахнут. Не всех удавалось спасти. Часто бойца к лазарету сестра притянет, а он уже похолодел.

Справа танки, а слева конница. В село, близ него и стоял наш лазарет, прибыла конная армия, и кавалеристов разместили по избам на ночлег. Сестры, вы свое белье на перевязку раненым порвали; и я велел облачить вас в мужские рубахи и кальсоны. Вы живенько переоделись и юркнули в койки. Спали или делали вид, что спите? Ржание лошадей у входа я услышал. Входит генерал, за ним веселый ординарец. Генерал глядит, как мои сестры спят. Тихо-мирно. В койках на детей малых похожи. Генерал тихо говорит: зачем детишек на войну побрали? Я так же тихо отвечаю: это мои сестры, товарищ генерал. А, сестры, наклонил генерал голову. Понял. Все понял. Вопросов больше не имею. Вольно, товарищ военврач.

А раненых сестры на себе волокли частенько вместе с их оружием. Сестра, родная, вот ты, ты, да. Помнишь последнего твоего раненого? Помнишь? Ты подползла к нему, вокруг разрывы гремят, а он лежит навзничь, и рука перебитая. А у тебя из сумки ножницы выпали, и нож потерялся. Снаряды рвутся. Ни ножа, ни ножниц, только твои зубы. И стала ты грызть бойцу мышцу и кожу. Мягкие ткани. Мясо, кровь. Выплювала на землю, плакала, уливалась слезами, опять наклонялась к кровавому полю боли и грызла, грызла, резала жизнь остриями зубов. И перегрызла. И затампонировала бельем. И забинтовала. И бинта не хватило, стащила с себя гимнастерку, в лоскуты порвала, оторвала рукава. Руки сильные стали, как у борца. Ты помнишь, что он тебе шептал, солдат, безрукий, в бреду? Давай скорее, сестричка, сестра... мне скоро снова в бой... скоро... сейчас... воевать буду... в атаку пойду... убью врага...

Сестры. Сестры мои.

Сестры милосердия.

Меня в столицу перенаправляют. Там, в столичном лазарете, говорят, я нужнее, чем здесь. Кто-то внимательный хочет в столице мой опыт операций и лечения ран перенять. Пусть перенимает. Я с радостью опытом поделюсь. А я, сестры мои, еще ведь тайком книгу пишу. О том, как правильно делать операции на различных внутренних органах и наружных человеческих членах. Такая книга военному врачу поможет. Она и мне самому поможет; пока пишешь, главное понимаешь про жизнь. Не говоря уже о том, что и про смерть. Смерть, что она? Она непонятна. То ли будет, то ли нет. А может, со мной не будет. А на войне она случается едва ли не со всеми. Сестры, вы знаете, сколько нас всех в живых останется после войны? Не знаете? Вот и я не знаю. Но предполагаю. Немного останется нас. И это не грустно. Это неизбежно. Это судьба. А о судьбе не печальтесь. Судьба, она предписана. Не мы ее сочиняли, писали, резали, бинтовали. Все это сделал Бог.

Бог, и только Бог.

Неверующие сестры мои, среди вас таких ведь большинство, можете смеяться надо мной, можете веселиться между боями и криками. Только Бог владеет нами. Только у Него мы все в руках.

Я видел вокруг мою столицу. Город был не похож на себя. Столица, раньше царица, теперь побирושка. Над крышами висели белые огурцы дирижаблей, по улицам медленно шли прохожие с темными, как на закопченных иконах, голодными лицами. Иногда маршировали странные колонны: то седых морщинистых людей в серых мышиных одеждах, а то и обносках с чужого плеча, то детей, и подошвы детских башмаков и ботинок громко, сухо стучали по асфальту, по брусчатке.

Я, прогрызая телом-червем грязные улицы, заявился в нашу с братом каморку. Ключ мы оставляли всегда в почтовом ящике. Там я его и нашел. Пустота и скорбь дохнули на меня изо всех щелей. На столе лежала записка: БРАТ, ЕСЛИ ТЫ ЖИВ И ВЕРНЕШЬСЯ, МОЛИСЬ ЗА МЕНЯ, Я УШЕЛ НА ФРОНТ. Я опустил на колени перед столом, перед запиской, перед жемчужно светящимся во тьме вечерним окном, и помолился. Молитв я не знал: своими словами.

Рядом с нашим домом ютилась маленькая церковка. Стены выкрашены желтой, цыплячьей краской, куполок тусклый, обшарпанный, давно не чищенный. Я зашел. Служба кончилась. Еще звенел последними словами проповеди пахучий, туманный воздух. Священник шагнул от аналоя ко мне, безмолвно стоящему.

— Господь благослови. Опоздал на службу, сын мой?

Я смутился.

— Нет.

— На исповедь? Исповедаться завтра, прежде Литургии, в восемь утра. Вечером Всенощное бдение.

— Нет. Да. Я исповедуюсь. Обязательно. Я бы хотел стать священником.

Батюшка не удивился. Стоял бестрепетно, ясно глядел на меня. Длинная его борода вилась седыми кольцами на широкой, мощной, как у кузнеца, груди.

— И как ты видишь твой путь, сын мой? С чего начнешь?

— Вы — меня — спрашиваете... Я вас хочу спросить. Я не знаю.

Назавтра я явился на исповедь.

<...> Сначала карантин, я претерпел его безмолвно. Кормили плохо. Свиной, коров кормят лучше. Потом отвели в камеру, битком набитую ворами и бандитами. Я приготовился к тому, что ночью меня зарежут. Воры расспросили меня, кто я и что я. Я ничего не утаил. Воры меня зауважали. Пальцем не тронули. Если кто бросал мне грубое слово — того товарищи брали за шкуру, встряхивали и угрожающе бормотали: если ты еще раз... Ночью иные пытались ко мне подойти под благословение. Я, сидя на нарах в ночи, благословлял людей. Всякий разбойник человек. На Голгофе стояло вкопанных в каменистую почву три креста. Висел Христос, леворучь Его корчился один разбойник, праворучь другой. Гестас и Дисмас. Кровью обливались: им солдаты тоже проткнули копьями животы. Один зло скрежетал зубами, вся и всех проклинал. Другой раскаялся. Может быть, плакал. Солнце заходило. Я воображал себя одним из разбойников. Кто бы я был? Дисмас, иначе Рах, кто повинился и был прощен? Злодей Гестас? Я не знал. Я видел. Я был Дисмас, и я был счастлив, и я слышал, как распятый избитый человек, с красной тряпкой на бедрах, в колючем венке, тихо, хрипло, медленно мне говорит, с трудом повернув окровавленное лицо: нынче же будешь со Мною в Раю.

Рай! Райский Сад. Я туда постоянно хотел. Райский Сад — это была моя мечта, мое детское упование. Я любил его как дитя, и мечтал о нем, как дитя, и по нем тосковал. Моя Родина не была Райским Садам. Она воевала. Люди воюют за самое святое. Воюя, они защищают свое святое, чтобы оно жило, не умерло. Каждый воюет на своем месте за свою святость. Из множества святостей слагается великая Святая Земля. Она в любом месте. Не обязательно в Иерусалиме и Вифлееме. На обрыве над рекой стоит храм; под ним святая трава, святая земля, святая река. Это так просто понять. И полюбить.

Настал день, мне выкрикнули в открытую с лязгом железную дверь камеры: на выход! Я вышел без вещей. Меня повели в тюремный лазарет. Люди болеют везде, и в тюрьме тоже. Еще сильнее, чем в миру, болеют, мучаются. Медицинская помощь плохая. Воды подать, грелку к ногам, если жар, таблетку, если сердце болит, так страдай. Лежи спокойно, все пройдет, пройдет и это. Мои бандиты и жулики тут тоже валялись. Небритые и страшные, как Гестас на кресте. Я ласково проводил ладонью по их щекам. Такое чувство, что ты гладишь еловую ветку. Одного замучила стенокардия, я понял. Не было в помощь мне ни пилюль, ни капель. Я перекрестил его и тихо сказал: молись, чтобы смиренным войти в Царствие Небесное. Ночью он умер от сердечного приступа. Я закрыл ему глаза и прочитал над ним отходную молитву.

На прогулку нас выгоняли, как скот, во мрачный тесный двор. Мы ходили там и вразброд, и по кругу, кое-кто прыгал, засидевшись и залежавшись.

К заключенным на свидание приходили родные и друзья. Ко мне никто не приходил. Брат воевал. О моей семье я не знал ничего. Где они, уехали в другой город, живы ли, погибли, может. Я молился за них и иногда плакал, их вспоминая. Память, доченька, нехорошая штука. Она тревожит, истязает, а взамен не дает ничего, кроме горечи под языком. Вместо обеда польнь, и вместо ужина польнь. Я понимал Сократа, когда он залпом выпил казнящую чашу цикуты. Уж лучше расстаться с горькой, соленой жизнью, чем бесконечно восседать на кровавом пиршестве ее.

Книг никаких не водилось в камере. Никто из разбойников с собою книги не носил, не возил. Я стал наизусть читать бандитам Новый Завет. Что помнил. А помнил, может, и не все, как надо. Кое-что наверняка присочинял. Так я читал им мое собственное Евангелие от Алексея; ну, да Бог простит. Канву-то я соблюдал. И читал, читал, и говорил, говорил. И они слушали, слушали. А один однажды спросил:

— Это вот что ты тут нам такое плетешь языком? Правда это или все обман?

— Все правда, — я сказал.

— Ух ты! Правда! А ты откуда взял, правда или нет? Гляди, наплел!

— Это не я наплел. Это записали жизнь Господа нашего Евангелисты. Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

— А они откуда про Него знали? Гляди, сказочники! Да я тебе таких сказок воз и маленькую тележку накидаю!

— Это не сказки. Это правда.

— Да кто ж знает-то доподлинно, правда или ложь? Какая, к чертям, правда!

— Правда. Господь Сам есть высшая и последняя правда.

— Эка! Да что ты! Брешешь как по-писаному! А докажи! Сделай чудо!

Тут все в камере загалдели, заурчали, закричали:

— Да, да, чудо... Чудо!.. Сделай чудо! Чудо-то сотвори! А? Что? Слабо?! А возьми нас на слабо! Чуда! Чуда хотим! Чуда! Чуда!

И вот уже все они страшно вопили, безобразно разевая рты, надрываясь, хрипя, то ли глумясь, то ли молясь:

— Чуда! Чуда! Чуда!

Я встал посреди камеры. В обтерханных штанах, в изорванной рясе, босыми ногами на голом полу.

— Чуда хотите? Будет вам чудо.

Тут произошло нежданное. Бандит, у них слыл вожаком, схватил распоследнего бандитенка, шестерку, вытащил из-за сапога умело припрятанную от охраны заточку и всадил острие шестерке в грудь. Шестерка упал, кровью заливаясь. Все расступились.

Тщедушный человечек крючился на полу, орошая кровью холодные камни.

— Ну что застыл! Валяй! Оживи!

— В бога-душу-мать!

Бандиты сыпали словами, выкрикивали: чуда!.. чуда!.. — потом утихли. Молчание упало пеленой тумана. Скрыло лица людей. Я не видел никого. Белый туман колыхался, плыл. Я медленно подходил к зарезанному. Видел: он еще дышит. Опустился перед ним на колени. Ощупал рану. К сожалению, убийца попал в крупный сосуд. Если не наложить зажимы, несчастный изойдет кровью.

Я резко встал.

— Хотите чуда? Будет вам чудо.

Я шагнул к стальной двери и заколотил в нее кулаком:

— Эй! Надзиратель! Срочно в лазарет! Меня и больного! У нас колотая рана!

Ключ в замке затарахтел немедленно. Ворвались надзиратели, подхватили раненого, побежали с ним по длиннюшему, конца-краю нет, коридору, я широко пошагал за ними, и ряса моя черным знаменем развевалась.

В лазарете раненого взгромоздили на учительский, обитый черной свиной кожей стол — тут хирургических столов не водилось. Я попросил инструменты. Инструментов тоже не было.

— Это тебе не больница! У нас тут тюрьма!

— Принесите ножницы, кухонный нож, сапожную иглу, толстую... суровые нитки. Нож остро наточите. На огне обожгите. Иглу и ножницы тоже обожгите. Это дезинфекция. Спирт есть? Нет? Йод? Тащите йод. Вместо спирта водки бутылку. Водка у вас должна быть. Вату, бинт. Бинта если нет, рвите простынь на полоски.

Принесли все требуемое, и даже водку. И бинт, и марлю, и простынку аккуратно на длинные ленты порвали.

Я оперировал. Руки сами летали. Под моими руками кряхтел, стонал и корчился разбойник Гестас. Он не раскаялся, но сейчас, я чувствовал это, раскается, вот-вот. Гестас, бормотал я ему, Гестас, ну что ты дергаешься, понимаю, ты без анестезии, это очень больно, знаю, ну давай, вот глотни водки немного, чуток, в голову кровь бросится, жарко станет, хоть немного боль отойдет, отступит, давай, валяй, глотни. Я подносил разбойнику к устам чашу, а точнее, битую фаянсовую чашку, забытую на столе, из нее, из Чаши Грааля, следователи пили чай, а может, ту же водку, а может, макали туда пальцы, уставая перелистывать бумаги. Я раздвигал волокна мышц, я распахивал рану шире, все шире, тщательно обрабатывал, чтобы не случилось загноения, заточка-то грязная, не ровен час, сепсис расцветет, и тогда пиши пропало, поминай Гестаса как звали, а ты еще живой, ну вот, отлично, не дергайся, не кряхти и не плачь, твой вожак дурак, он от меня чуда хотел, чуда, а теперь ты будешь жить, ведь не полостное ранение, не в живот, кишки тебе не разворотило, кровищи только море, так и хлещет, ну я пальцами зажму артерию, и операционную площадь простыней осушу, делать нечего, зажима-то тут нет, слава тебе Господи, все остальное нашлось, да ведь и помощника у меня нет, все один, ну так, без перчаток, Гестас, одной рукой сведу и стисну края раны, иглу в зубы, нитка чудом вдета, видишь, есть на земле чудо, а теперь шить, мы же всегда все сшиваем рваное, нельзя терпеть дыру, ее надо заштопать, на жиз-

ни дыра, смерть, давай захомуем ее, наложим заплату, никто и не увидит, крепкий шов наложим на рваную рану, смерть, пускай она корчится под иглой, орет, вот так, так, еще шить, сшивать, жить-поживать, ты будешь жить, дурак, и жоак твой дурак, и все вы дураки, а может, и нет, ходите рядом со смертью, чтобы полнее, счастливее ощутить жизнь, давай, тупая какая игла, кожу протыкаешь, а она не лезет, пронзаю насквозь мягкие ткани, крестовидные наслоения мышц, рыбачью сеть капилляров, стугстки хрящей, ломкие ветки суставов, кровавую губку пузырчатых легких цвета густого пасхального кагора, человек же такой красивый, он чудесно устроен, сам человек чудо, великое чудо Бога, сделан по образу и подобию Божию, а никто в это не верит, думают, человек сам по себе, а Бог Сам по Себе, но это неправда, а правде не верят, правда это всегда ложь, правду отрицают, правду гонят, над правдой смеются, правду бичуют, правду распинают, но от этого всего она не перестает быть правдой, это и есть чудо, люди, дураки, ах, бедняги, милые, родные люди, ведь это же и есть чудо, и это правда, все, Гестас, дружище, терпи, потерпи еще немного, сейчас, сейчас все оборвется, сейчас закончится чудо, наше с тобой чудо, возвращение к жизни, ты вернулся, я тебя вернул, вот и прекрасно, вот и все, последний шов, так, покрепче затянуть, зубами откусить, ну что ты, доктор, зачем зубами, вот же, рядом с тобой ножницы, схвати их и откромсай все лишнее, отсеки, отрежь. Так. Все!

Я швырнул ножницы на стол, они зазвенели.

Передо мной лежал разбойник Гестас и тихо стонал.

Я обработал, промыл водкой, залил йодом и зашил ему колотую рану. Ничего особенного. Никакого чуда.

Простая операция, простецкая, студент медицинского факультета сделает без труда.

<...> Я один. Я лечу.

Да нет, не людей лечу. Я лечу над Миромъ.

Это всем только кажется, что я живу, дышу, среди людей передвигаюсь. Делаю дело свое и стараюсь делать его хорошо. В тюрьме свои дни влачу, послушный воле людей, лишивших меня свободы. Нет. Я не здесь. Я не только здесь. Я еще и здесь. Небо ли это? Время ли? Не знаю. Это мой полет. Раскинуть руки, так удобнее лететь, проще. Гляжу вниз. Мне чудится, у меня за спиной хлопают крылья, перья чуть звенят, посверкивают в лучах звезд, и у меня от этих искр по голым рукам ходят мелкие сполохи.

Я не знаю, одет я или гол. Руки вижу: нагие. Сильные, все в игре мускулов. А через миг — старые, с дряблыми мышцами, со стариковскими пятнами-бородавками. В таких руках нельзя держать скальпель и делать разрез. А если к тому же и зрение угасает, тебе не место у хирургического стола, доктор. Сиди в кресле, держи кошку на коленях, гладь ласково.

А я лечу.

Я здесь, в тесной и темной камере, в каморке, внутри человеческой каменной постройки, где томятся, не зная своей вины, арестованные люди; и я здесь, в ночных небесах, и отсюда, с небес, далеко внизу, я вижу мою Землю, а на ней идут войны, сшибаются миры, народы в кровь бьют друг друга, топят, сжигают и вешают, расстреливают в упор, один народ убивает другой, из ненависти, а бывает, из любви, ведь когда зверь-человек любит и страдает, он хочет убить того, кто причиняет ему страдания. А когда он любит и счастлив, он хочет убить того, кого любит и кто любит его — чтобы его любовь никому другому не досталась. Чтобы только он один владел! И один — помнил.

Я лечу. Полет ужасен. Он бесконечен. Я не знаю, когда он оборвется. Меня тошнит, кругом катится голова, зрение обостряется до яростного блеска граненого алма-

за. Я лечу и гляжу вниз. Я не в тайной замкнутой камере. Не в тюрьме. Им меня не запереть. Я все вижу и все запоминаю. Гляди, говорю я себе строго, и запоминай: кроме тебя, этого больше не увидит никто. <...>

Битва Небесная! Битва Предвечная! Там, в небесах, времена и народы бьются — не на жизнь, а на смерть. И очень важно, кто победит. И — надо победить! Даже если все умрем!

Я лечу, я вижу: отныне и навсегда мы будем жить внутри войны. Мы всегда будем воевать. Эта битва, мы мним ее последней, она растянется на века, на тысячелетия. На вечность.

Санитары тащат носилки. Мы их перевернем! Кто это мы? Мы не знаем, кто мы. Нам бы это узнать. Не санитары носилки волокут. Их тащит вихрь. Ветер. А люди просто держатся за края белизны. Когда перевернутся носилки вихря, когда встанут друг против друга и оскалятся, как звери, санитары, начнется новая война.

<...> Остановились на ночлег в заметенной великими снегами деревне. Спали на полу вповалку, живыми бревнами, теснее друг к другу прижимались, чтобы согреться. Среди ночи в дверь бешено застучали: отворитесь! мужик помирает! мучится очень, сил нетути глядети! Охранник дверь открыл. На меня гаркнул: ты дохтур, што ли?! Я что было сил побежал за плачущей взахлеб бабой в огромном, с кистями, платке, и ноги вязли в глубоком снегу, я их зло вытаскивал из сугроба, вытряхивал из валенка снег и бежал дальше. Дом гремел на метельном ветру разъявленной дверью. Мужик лежал на широкой лавке, руки свешивались до полу, охал, иногда вскрикивал и скрежетал зубами.

— Где болит?

— Животе-е-е-ень...

— Здесь?

— Да-а-а-а! Ай!

И опять я родной скальпель вспомнил.

— Хозяйка! Нож острый с кухни тащи!

— Охти мне! Каковской? Тесак свиной?!

— Да хоть его! И водки, хоть на дне бутылки!

— Как жа, как жа... без водки-то, ах...

Принесла. Я обжег лезвие на пламени свечи и полил потемнелую сталь водкой.

— Еще, мать, ваты носи.

— Што-о-о-о?!

— Ах ты Господи... Ну, корпию. Ветошь! Тряпки ненужные! Кровь чем буду промокать! Быстро!

Баба притащила целый мешок разномастных тканевых обрезков.

— Вот, дохтур... эх, толечко не ори ты так...

Я быстро и крепко привязал тряпками руки и ноги мужика к лавке. Задрал ему рубаху. Спустил портки. Антисанитария! А делать нечего. Вперед, хирург! На войне как на войне!

Я сделал широкий разрез. Сразу живот распахал. Аппендицит, типичный. Хорошо бы не гнойный. Ну, Господь, храни меня! И мужика. Без Тебя, Господи, никуда! Пусть иные смеются! А вот никуда!

— Таз принеси...

Баба носилась по избе, как помело.

Медный таз брякнул об пол около лавки и около распятого мужика. Живот вздувался. Кровь лилась на пол. Я ущупал червеобразный отросток, вслепую отыскал кон-

чиками пальцев, в разлитой кровавой луже раскромсанной брюшины, его основание и рубанул обожженным тесаком по налитому гноем червю. Так быстро швырнул его в таз, что сам испугался.

Мужик заорал.

— Мать! А йод у тебя в избе есть?!

— Дохтур! Што таковое е-о-о-от?! Не знаю-у-у-у-у!

— Не вой, как волк...

Значит, водкой обойдусь.

— Половник неси!

Кровь половником из брюха вычерпывал. Таз наполнялся. В ночи, при свете тусклой свечи, кровь чернела, как варенье из черноплодной рябины. Моя жена, в другой жизни, варила такое.

Мужик орал.

Ветошью кровь обтирал. Ветошью тампонирует распахнутую, как дышащее поле, брюшную полость. Грязной ветошью! Мыши в ней ночевали! Что я делаю! Сепсиса мужику не избежать! Но вертел и вертел из тряпок тампоны и совал, совал их в разрезанный живот.

Господи... шить...

— Баба!

— Божечки, божечки...

— Иглу мне, наибольшую, какую найдешь! И нитку толстую, суровую! Можно — шерсть! Пряжу!

Баба незряче отматывала от клубка нить, перекусывала зубами, в зубах принесла мне иглу, я вытащил у нее иглу из зубов, губы ее тряслись. Игла вспыхивала под свечой. Детонька, глаза мои в те поры зрели Божий Мирь, я вдел в иглу пряжу, соединил края разреза и стал шить. Шил, шил, все туже и туже затягивая стежки. Мужик орал. Вдруг перестал орать.

Я отступил от лавки на шаг. Вытер лоб кровавой рукой. Кровь, видать, размазалась у меня по лицу, и баба отпрыгнула от меня, как от ведьмака.

Согнулась, как переломилась, в земном поклоне. Стала падать, валиться на меня.

— Ну что ты, баба...

Я подхватил ее под мышки, усадил на лавку, в ногах мужа. Отвязал мужика от лавки.

Баба ревела в голос, должно быть, от радости. Мужик прохрипел:

— Экой ты ловкой... яко охотник в тайге...

Баба цеплялась за подол моей изорванной в долгом пути рясы.

— Батюшка родненькой!..

На табурете, у изголовья мужика, лежали: красный нож, красная игла, обрывок красной нити, выпачканный кровью клубок. Тряпки валялись под лавкой, по половицам, у печи. Будто разноцветные котята в тепле спали. А кошка гуляла на морозе.

Я погладил бабу по голове и широкими шагами, сам боясь разреветься, вышел вон.

За мной, ругаясь страшно, побежал охранник; пока я оперировал, он привалился к печке и задремал, а сейчас я уходил у него из-под носа, не ровен час, в тайгу убегу, и поминай как звали.

НИКОЛАЙ

Я сам не знаю, как я спас ее. Я думал, она уже труп.

Толчок изнутри. Я подошел. Старался не смотреть на разбомбленный санитарный поезд. Смерть мелькала перед глазами, и глаза болели, а я переставал видеть. Не хва-

тало только ослепнуть, да понятно, что не от вида мертвецов. Тут другое. Витаминов ни черта не хватает. А откуда их на фронте взять.

Иногда я вспоминал моего бородатого доктора, соратника, собрата, и думал насмешливо и горько: хорошо хоть, не замучили враги. А близки мы были тогда к тому, чтобы трупами стать. Отличную гнилую дощечку в стене сарая обнаружили; спасибо, дощечка, спасла нас.

Может, где воюет. В смысле, бойцов спасает. Да не пересечемся уже. Гора с горой на войне не сходится. Кого-нибудь из нас убьют. Не дай бог.

Бог? Привыкли мы, чуть что, Бога поминать. Вот и я туда же.

Крик раздался.

— Эгей! Доктор! Гребите сюда! Около вагонов полно живых валяется! Может, спасем кого!

Спасать. Спаси. Завет на всю войну. Одно слово. Это вместо клятвы Гиппократ.

Кричу в ответ, глотку надрываю.

— Иду-у-у-у!

Иду.

Парень, обе ноги оторвало, из культей кровь хлещет. Теряет кровь стремительно. Сейчас умрет. Тут ни переливание не сделаешь, ни зажимы не наложишь, ни жгуты, ничего. Вот уже бледнеет, зеленеет. Я не гляжу, как он умирает. Только хрипы слышу. Тысячу раз я видел, как человек, умирая, странно выгибается. Будто хочет достать что-то важное, невысказанное, откуда? У небес отнять? Не дано ему. Он — на земле — помирает. И ничем смерть не отодвинуть. Никакими руками. И никакими разрывными ее не расстрелять.

Мужик, череп раскроен. Еще дышит. Глаза выкатывает. Еще видит. Меня увидел. Знаете, мозг, сам по себе, не болит. Серое вещество безболезненно. Болят ветки нервов, его оплетающие. И кожа головы. А мозгу не больно, и черепу не больно. Кости тоже не болят.

И этому жить осталось — раз, два и обчелся.

А может, можно попытаться. Попробовать. Попробую.

— Эй! Носилки!

Бегут парни, с носилками. Я показываю на этого, с расколотым черепом. Парни кладут его на носилки быстро, а мне кажется, медленно, как в кошмарном сне. Когда ты осознаешь, что снится сон, но двигаешься, как сомнамбула, бежишь, еле передвигая ноги, и не можешь убежать, бежишь на месте.

Утаскивают. Сломая голову к госпиталю, с еще живой ношей, бегут. Госпиталь наш рядом, за железной дорогой.

Гляжу вдаль, на них. Вот они уже крошечные, как зимние воробьи. Вот меньше чечевицы. Вот уж я и носилки не различаю. Да, ослабло зрение. Масло сливочное, витамин А, печень трески и тому подобная роскошь! Где ее взять?

Раненый в гипсе. Нога в гипсе по колено, и рука тоже. Белой кочергой согнута. Вместо второй руки — красное месиво. Стонет. Потом орет. По сухой траве разливается, медленно впитывается в землю черная кровь. Венозная.

— Ты как, друг?

Здесь все мы друг другу друзья.

Прекращает орать. Глядит на меня, как на Бога.

— Воды-ы-ы-ы-ы...

Щупаю пульс на шее, сонную артерию. На запястье. Еле прослушивается. Нитевидный. Рвется. Аритмия. Выпадения ударов. Экстрасистола.

За мной медленно движется медсестра. Я все время забываю, как ее зовут. Выкрикну имя, а она меня поправляет. Я не Оля, а Даша. Душенька? Дашенька!

А что если всех их — девок, баб — под одну гребенку — Душеньками звать? И ласково, и не имя. Дешево и сердито, короче.

— Душенька... Дашенька, вколи ему морфий, если еще остался.

— Остался!

— Валяй...

Смотрю, как втыкается игла в кубитальную вену в локтевом сгибе. Умелая Дашенька, попадает в вену без всякого жгута выше тока крови. Молодец.

Раненых не вижу, а крики и хрипы — слышу.

— Доктор!.. ступню оторвало... ступню...

— Докто-о-о-ор!.. держу кишки, видишь... держу...

— Доктор... спасите... спаси...

Мать вашу, братцы, я тут спаситель какой-то. Стыдно мне. Немного кого сегодня спасу. Не смогу. Да вы этого не поймете. Никогда.

Не вижу, это соображаю, от слез. Я что, кисейная барышня?!

Зло промакиваю глаза обшлагами гимнастерки. Трясу башкой, как мокрый пес.

Санитары ведут под локотки раненых. Раненые им за шеи цепляются, повисают на них всей тяжестью. Ковыляют. Теряют сознание от боли. Валяются наземь. Санитары бьют их по щекам, снова взваливают себе на плечи, тащат на себе.

И вдруг! Платье задралось. Лицо передо мной. Женское. Сначала я увидел лицо. В полосках, разводах крови. Будто кто щеки, и лоб, и подбородок нарочно красными узорами расписал, размалевал. Потом увидел руки. Руки сжимали пучки седой травы. В правой трава, в кулаке зажата, в левой трава. Лежала, по земле руками ползала, траву с корнями выдирала, так боль заглушала. Может, чтобы не орать на все чистое поле. Чтобы враг не услышал.

Потом она открыла глаза, и я увидел ее глаза.

Синие. Синие. Синие! Небесные.

Она ударила в меня не глазами — всем небом.

Я уж и забыл, как небо выглядит. Синее, серое, ночное звездное — мне было все равно. Некогда мне было на него смотреть.

Синие глаза увидели меня. Выкатились из орбит.

Выпучив глаза, она силилась слово сказать. И не могла. Из вымазанных кровью губ вырывались только хрипы.

Потом я перевел глаза ниже. Шея. Трахея. Грудь. Живот.

Весь живот осколками разворочен. Полостное, множественное.

Не жилища.

Я чувствовал, сейчас упаду. Держаться! Экий слабак.

Вдохнул, выдохнул пару раз глубоко.

Женщина все смотрела на меня. Все хрипела.

Хрипом, я узнал это, тоже можно говорить и петь. Жаловаться. Плакать.

Голос прорезался.

— Доктор... спасите...

Ну что ты будешь делать. Кроме «доктор, спасите», больше и слов-то никаких в лексиконе раненых не осталось.

Я крикнул ей:

— Спасу!

Думал, выйдет крик, а вышел хрип.

— Спасите... быстрее... несите...несите... они снова... два раза налетали... всех убьют... всех...

Я обернулся. Искал глазами сестру.

— Сестра! Сестра! — Черт, опять забыл имя. — Морфий! Морфию сюда! Еще есть?!

Сестра, Оля или там Даша, черт разберет, наклонилась над раненой. Вводила ей в вену живое спасение. Вводила сон. Вводила жизнь. Только бы не перебрала с дозой, а то вместо жизни введет больному смерть. Смерть — это тоже сон, только вечный. Впрочем, может, в ее положении это и хорошо. Я наклонился и одернул платье у нее на ногу, прикрыл ей ноги. Развороченный живот нечем прикрыть. Живот молча кричит от боли. Брюшина, в отличие от серого вещества, очень болезненна. Она еще хорошо борется с болью. Иной мужик уже бы давно в голос орал. Она лежит спокойно. Только глядит. Глядит на меня синим небом. И хрипит.

За спиной затарахтела машина. Госпитальный грузовик приехал. Великолепно. Сейчас мы всех живых в кузов загрузим и домой повезем. Вот как, я уже госпиталь домом называю. А что, и правда, это нам всем дом родной. Пока война идет. А что после войны грянет, мы не знаем. Никто. И мы все тут не пророки. Не видим будущее. А зачем его видеть? Живи себе и живи. Или умирай. Третьего не дано.

Мотор заглох. Я молча махнул рукой.

Я уже не мог говорить.

Она все лежала и смотрела на меня. Дышала с подхрипом, громко.

Ее синие, широко распахнутые глаза светились. Так глаза у женщины светятся в любви.

Мы перетаскали в госпиталь всех живых. Среди мертвых, возможно, были живые. Я тщательно прощупывал пульсацию сонной артерии. Я не мог ошибиться. Верил себе. А надо было не верить. Пока грузовик колыхался, перевозя раненых к нам, я сидел в кузове рядом с ней. Держал ее за руку, якобы щупая пульс. На самом деле мне просто хотелось, ну вот хотелось держать ее за руку. А потом, я просто сразу бы почувствовал, когда она умирает. По исчезающему теплу руки. Я не знал, чувствует ли она мою руку или нет. Закрыла глаза. Синева провалилась внутрь ее существа. Дышала. Я видел, грудь поднимается. Может, она потеряла сознание. Тогда дело плохо. Я хотел потрещать, побить ее ладонью по щеке, чтобы она открыла глаза. Побоялся. Вдруг не откроет. Ну что ж, похороним неподалеку от госпиталя, там мы организовали походное госпитальное кладбище. И много уже людей там лежит. В земле. Под землей.

Грузовик подсказывал на сухих кочках, на россыпях камней, обломках угля. Эта земля всю жизнь давала Родине угля. Даешь уголь! У нас в школе висели такие плакаты. Если врага выгоним, еще угля даст. Даешь выгнать врага! Раздавить гадину!

Я держал, держал ее руку. Сжимал. Все крепче. Все обреченней.

И чудо случилось. Она ответила мне на мое крепкое, отчаянное пожатие. Пальцы шевельнулись, сжались. Она сжимала рукой мою руку. Теплая рука. Живая. Живая.

Мы уже подъезжали к воротам госпиталя, когда она опять открыла глаза.

Я окунулся в их невозможную синеву и громко, хрипло выдохнул.

Потом опять вдохнул, захлебнулся холодным воздухом.

Радостью захлебнулся.

В операционную я нес ее на руках.

Она была совсем нетяжелой. Я даже удивился.

И сам я сделался легким, будто не весил ничего.

Санитары волокли других раненых. На машине из соседнего, вверх по реке, госпиталя приехали еще врачи. Голодные, просили поесть. Я рывкнул: сначала оперируем! Оперировали везде, где можно было. Клали раненых на топчаны, на диваны, просто на доски, на обеденные столы в госпитальной столовой. Скальпелей наших не хвата-

ло, да врачи догадались, с собой привезли. И новокаин, и бутылку чистого спирта, девяносто шесть градусов, и морфий, и йод, и аналгин в ампулах, и иглы, и кетгут, и все такое. Богатые эти врачи были в сравнении с нами. Мы-то повывтряслись. Рядом с нами кровопролитные бои как раз и шли.

Верхняя брыжеечная вена. Кровит. Зажим! Сестра отличная, быстрее меня обо всем догадывается. Все видит. Это я уже слепой. Остановить кровотечение! Важнее сейчас ничего нет. Острое рассечение по белой линии живота. Так. Добавляем правый подреберный разрез. Нужно обнажить печень. Так сподручнее. Я должен печень видеть. Дергается! Лежи, душенька, лежи.

Лежи спокойно.

Двенадцатиперстная. Ранения! Все пробито. Вынимаю осколки. Иссекаю ткани кишки. Пот течет со лба на брови, глаза и щеки. Дотекает до маски, ловлю пот губами. Сестра! Промокните! Оля! Я Даша. Наплевать! Я ослепну. Да нет, вижу я, вижу. Не бойтесь. Не промахнусь.

Я вижу осколки. Их страшно много. Их тьма. Они торчат везде. В желудочно-ободочной связке, в сальнике. Вскрыл брюшину. Все кровит! Тампонада! Пережмите аорту! Чуть ниже диафрагмы! Да! Здесь! Я пережала, Николай Петрович. Печень цела?! Это чудо! Это же чудо! При такой россыпи осколков! Это невозможно. Ого-го, да тут перфорации тонкой кишки, не только толстой. Не счесть. Не могу понять. Она еще жива! Она живет! Но это невозможно. Так не бывает!

Бывает, не бывает, все равно.

Душенька, Дульсинея Тобосская, княгиня Ольга, Кармен, кастаньеты, старые доспехи, ржавое копьё. Звенят ожерелья, звенит монисто. Далеко бомбят, и стекла в окнах звенят. Я вытаскиваю осколки и бросаю, вытаскиваю и бросаю в таз, они звенят, я быстро делаю резекцию, она ведь лежит под общей анестезией, не под местной, с таким ранением только маска и хлороформ, никакой эфир тут не подействует, с ним возни не оберешься, долго надо ждать, пока...

Надо шить. Ушивать. Крепче. Можно ушить фасцию. Нужно? А если внутрибрюшная гипертензия? Опять разрез? Ну уж нет. Ты молодая! Слышишь, молодая! На тебе все заживет, как на собаке! Организм полон сил!

Что ты врешь. Ей и сам себе. Война, голод, недоедание, долгая страшная зима, она ослабла вусмерть. Зачем, куда она ехала в санитарном поезде? Эх, да она, должно быть, санинструктор. Эх я дурак. Не догадался. Это ее родные больные вокруг нее, на насыпи, на шпалах — мертвые валялись.

Рядом с нами стояла маленькая девочка, белые коски враспопырку по плечам, лоб красным платком перехвачен, узел на затылке. Она нам помогала. Высоко, и как только руки не устали, держала тусклую лампу в зеркальной полусфере. Электрический шнур вился далеко к окну, к неисправной розетке. Девочка неуклюже дернула шнуром, вилка вывалилась из розетки, и свет погас. В ночном полумраке, пока девочка возилась с вилкой и розеткой, при свете луны в голое окно без штор, я заканчивал операцию. Сестра всхлипывала, я слышал. Не реагировал. Бабы всегда плачут. Им только дай поплакать.

Иглу! Кетгут!

Лампа загорелась, отражалась в увеличительном зеркале, девочка опять высоко подняла ее. Да будет свет! Лицо мое опять заливал пот. Уж лучше бы слезы. Пот, слезы, соль, кровь, полный набор удовольствий. Как бы умоленные сказали: страдания это испытания, их посылает Господь. Мы ему покажем такого Господа, врагу! Сотрем в порошок! И поминай как звали. И никакому Господу не помолится.

Я отшагнул от стола. Сорвал маску, насквозь соленую. Отвернулся. Даша или там Оля, черт знает, приблизилась ко мне и чистой маской, из кармана добыла, заботливо обтерла мне сумасшедшее лицо. Я дошел до двери операционной и оглянулся. Больная лежала не шевелясь. Ноги вытянуты. Укрыта простыней, от подбородка до щиколоток. Из-под простынки ступни торчат. Хорошо, не вывернуты, как обычно у мертвецов. Жива. Еще жива.

Я вышел, пошел по темному, безглазому ночному коридору и повторял: живи, живи.

К утру прооперировали всех. С ног валились. Спали все, и гости и наши, на полу в столовой. Туманно и дразняще пахло пригорелой кашей.

Я не зря понадеялся на молодую женскую силу. Моя больная оклемалась. Выздоровливала. Я приходил в палату, окидывал взглядом чужие койки, подходил к ее койке. Она делала вид, что спала.

— Не притворяйтесь. Зачем глаза закрыли?

Открывала глаза. Синева смеяла! Глаза смеялись, счастливо, захлебно.

— Отдыхаю.

— Как себя чувствуем?

— Мы? — Она смеялась надо мной. — Мы с вами чувствуем себя хорошо. Прекрасно!

Я улыбался, хотя мне хотелось взвыть. На днях должна прийти машина из города. Всех выздоравливающих в город увезут. От нас. От меня. Навек. Навсегда.

Навсегда, что за глупое слово. Неужели бывает навсегда? В мире же нет ничего навсегда. Все временно. И время само временно. Ничего вечного нет.

— Вот и прекрасно. Давайте я вас осмотрю. Не больно было снимать швы?

— Нет.

Она улыбалась. Душенька.

Я откидывал одеяло. Мял ее живот. Она хотела ахать, может, и стонать, но не ахала и не стонала. Душенька! Дульсинея! Хабанера! Сегидилья! Русая Кармен! Ты знаешь, я люблю тебя!

— Я...

Не хватало здесь, возле койки мною прооперированной больной, спятить с ума.

Я пытался представить себе ее тело, безобразно распаханное осколками, кровавые внутренности, пульсирующий кишечник, брыжейку, сальник. А видел, видел ее душу.

И кажется, даже целовал ее. Душой.

К черту! Какая, к черту, у человека душа?! Я просто от этой войны умом тронулся! И у меня просто очень давно не было женщины! И я же не могу с ней переспать, с этой...

Я вытирал потной ладонью потное лицо. Выдергивал из кармана маску и спешно напяливал, чтобы она не увидела моего позора, крупными буквами на лице написанного: Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

Жаль, я не ношу очки! А то бы и наглые глаза хоть немного стеклами были прикрыты.

Я выпрямлялся. Напускал на себя строгий вид.

— У вас аппетит есть?

— Есть. И еще какой!

— Вас больше не тошнило, как после наркоза?

— Нет! И не рвало! Я бы съела быка!

Тореадор, смелее в бой. Тореадор. Тореадор.

— Мяса жареного у нас нет, это редкость. Если мясо привозят, мы его мелко режем и кладем в похлебку. А чего бы поели? Скажите, может быть, мы...

- Сушеных фруктов! Чернослив... курагу... размочить только, чтобы мягкие...
 - Отлично! У нас на кухне есть мешочек сухофруктов, мы из него варим больным компот. По праздникам. Считайте, у нас праздник! Я велю сварить компот! Для вас! Синий, птичий смех грядущей весны.
 - Зачем для меня? Для меня одной? Для всех!
 - Хорошо. Для всех.
 - А мне один стаканчик.
 - Один. Стаканчик. Хорошо.
- Больные, кто мог смотреть, на нас смотрели.
Они все лучше нас понимали.

ФРЕСКА ВТОРАЯ. ЮЖНАЯ СТЕНА

АЛЕКСЕЙ

Леса, тайга. Человек — это медведь. Он родом из тайги. Его чудом не подстрелили. Он ушел, сминая лапами бурелом, страшно ревел, зализывал раны, зализывал прошлое. Вот еще один затерянный в тайге пряничный городок призрачно восстал из слоеных снегов. Меня здесь не в тюрьму определили — Бог дал роздых от решеток и прочных замков: меня поселили в чернобревенный теплый, щедро натопленный дом, там в каждой комнате, и в гостиной, и в столовой, и в кухне, и в каждой спальне, печка ютилась. В кухне — громадная русская печь, в таких печах раньше крестьяне мылись; в других комнатах — голландки и подтопки. И все хозяин исправно топил. Рано утром, еще затемно, растапливал. Я блаженствовал в тепле. Чувствовал себя царем в тереме. Предложил хозяину: давайте я у вас литургию буду служить? В гостиной! А впрочем, где хотите. Где скажете.

Хозяин, крепкий старик, плечи шире слуги, погладил смоляную кудрявую бороду: да ведь я старовер, мил человек. Раскольник я. По-старому крещусь, по-старому молюсь. Два перста священны, наибольший чуть согнут, смирение это пред Господом, а три, наименьшие, и одинокий, наисильнейший, вот они-то слагаются во истинную и неделимую Троицу. Вашими троеперстиями сами себя презренно, торопливо солите, аки осетра на зиму. А вашему Никону завсегда проклятья посылаем! Нет у Бога ни староверов, ни нововеров, ни иноверов, тихо сказал я. Креститесь как хотите. А только Литургия Иоанна Златоуста она и есть Литургия Иоанна Златоуста. И делу конец. Никто ее не переписывал с четвертого века, никто на кострах не сжигал. Хотя, может, кто-то и хотел. Да не смог. Молитесь со мной, рядом вставайте! Христос и Тот на Голгофе грешника простил. Если мы возлюбим друг друга, а не возненавидим, точно в Раю будем!

Так получил я разрешение служить. И совершал Литургию Иоанна Златоуста и Василия Великого и Всенощное бдение. Вместо диакона у нас была диаконица, престарелая супруга хозяина, старше его на много лет; я думал сначала, это мать его.

Из снега, вьюги и тумана на пороге, в клубах пара, как конь, явился ко мне старик монах; он попросил рукоположить его во иеромонаха. Глядел на меня, глаза расширив.

— Что ты так смотришь, отче?

Монах прикрыл глаза морщинистыми тяжелыми веками.

— Я вас во сне видел. Такого, как вы есть.

— Во сне? Да разве это диво? Нам всем снятся сны.

— Но я видел вас, вас.

Я вынужден был согласиться.

Литургию служил, за литургией старика во иеромонахи рукоположил. Передается огонь веков. Мы никто не знаем, как и кому мы будем огонь передавать; но кому назначено его нести, тот несет, из рук не выпускает. Сейчас тюрьма казалась мне сном. И, как во сне, творил я, следом за литургией, тяжелейшую операцию врожденной катаракты трем мальчикам, слепой тройне, и они прозрели, и мать их бросалась передо мной на колени, ползла за мной на животе и целовала край моей рясы. Я клал руку ей на голову и плакал вместе с ней. Мальчики, после того, как я снял повязки, сидели на кровати и жмурились. Им больно было посмотреть на свет. Когда зрительный нерв привык к освещению, они открыли глаза. И все трое враз, хором, закричали.

Кричали безостановочно! От радости.

Потом умолкли.

Колени мои подогнулись, и я сел на койку в палате, поблизости от прозревших, и сидел молча, без сил. А мать мальчиков сидела передо мной на полу, как Мария, скрестив ноги, во время оно смиренно сидела перед Христом, пока Марфа на кухне хлопотала, и все подносила подол рясы моей к губам, и все целовала, и рясой моей слезы себе вытирала.

Ряса моя больше не пребывала измызганной: в том староверском чернобревенном, приземистом и мощном, как спящий в берлоге медведь, доме я впервые, за все время долгого путешествия, ее выстирал, старовер мне дал лохань и лазурное мыло, и я стирал рясу тщательно, старательнее любой бабы, так долго, что она под ладонями моими начала разлезаться в дыры, и тогда я остановился, выжал ее и развесил во дворе, на морозе, и она замерзла и встала колом, и сделалась твердой, как огромный вяленый таймень.

В том доме, того бородатого могучего старовера, мне пришло видение. Я уж привык к тому, что вижу то, чего видеть нельзя. Лег спать. Старовер стелил мне, по моей просьбе, не в комнате, а в сенцах. Там стоял ночной холод, и я укрывался, кроме одеяла, еще и овечьим тулупом. Изобильная овечья шерсть хорошо согревала меня. Иногда я боялся ночи, иногда нет. Именно ночью приходили видения. Сначала я боролся с ними. Не хотел видеть; не хотел знать. Потом перестал восставать. Принял все происходящее. Смирился.

Смирение и терпение. Вот что главное.

Так работает Дух, дитя мое. Дух в тебе, но он превыше тебя. Это ты пришит к Нему, Параклету Утешителю, прочными стежками, а не он к тебе. Помни это.

Закрыв я глаза, натянул овечью шкуру себе на голову. Стал дышать внутрь тулука. Согревался. Потом башку выпростал. Дышал холодом. Наслаждение, когда сам весь в тепле, а дышишь легким морозцем. Иней затянул стекла. Крохотные оконца сине, лазуритово переливались, по ним медленно бродили ледяные хвощи, зимние васильки и колокольчики. Я уже прочитал вечернее правило, но захотел еще помолиться. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного... Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас...

И только хотел сказать: аминь, — увидал.

Широкий, льдиной плывущий по невидимой реке стол. Стол-ладья. Стол-корабль. Деревянная палуба чуть накренилась. За столом люди сидят. Много людей. Невозможно сосчитать. Ползут вдаль и вбок, расширяются края стола. Люди появляются из ничего, из плотной тьмы. Садятся за стол, стоят за спинами сидящих. Тех, кому повезло. Люди едят. Наливают из бутылей в разномастные сосуды и пьют. Кто сидит на полу, у ног пирующих, и играет на неведомых музыкальных инструментах; я вижу, как пальцы перебирают струны, я слышу непонятную, никогда мною не слышанную музыку. Стол завален едой и питьем, фрукты горят драгоценно, жареное мясо вспы-

хивает золотой корочкой, сок течет на серебряное блюдо из разрезанных лимонов, апельсинов. А вот ломти ветчины. А вон огромная миска с ягодами, земляника, черника! Яйца навалены белой горой! Пироги плывут сдобными крупными рыбами. Осетр возлежит, бревном в полстола, острые костяные наросты, морда узкая, острая, и зелень из нее пучком торчит. Рубины икры, и витая царская ложка воткнута! Слитки масла, только с мороза, застылого! Себе, внутри видения, шепчу: может, это я просто жрать хочу, голоден я, вот и привидится всякое. Красное вино мерцает в бокалах. Вино зря сравнивают с кровью. Кровь непрозрачна. Прозрачна только слеза. Кровавая слеза. Человек сидит по центру стола, по правую руку его сидит красавица. Глаз не отвести. Русые толстые косы; одна за спину закинута, другая перекинута на грудь и распущена. Глазами косит вниз и вбок. Нежная улыбка. Молчит. У главного человека за праздничным столом тоже струятся по плечам длинные волосы. Он не глядит на женщину праворучь, глядит вперед. Нет. Он глядит в себя. Внутрь.

И я понимаю: этот человек — не человек. Он — Время.

Он глядит внутрь себя, а потом веки его вздрагивают, и внезапно он начинает глядеть внутрь меня.

Мне от этого взгляда страшно. И в то же время счастье, нет ему предела, обнимает меня. Спаситель! Ты ли это! Сотрапезничаю ли я с Тобой, пусть даже так, во сне! Руки человека раскинуты, на столе лежат, брошены двумя кусками хлеба, струятся по столу смуглой водой, две смертные дрожające реки. Бессмертные! Женщина рядом с ним медленно поднимает глаза, в меня двумя безумными птицами летит забытая синева. Синь, праздник! Живого можно убить, и глаза сомкнутся навсегда. До Страшного Суда. Руки Господа раскинуты по столу, Он предлагает нам, мне присоединиться к пиру. Поешь, смертный! Все так красиво! Все так ярко и вкусно! Жизнь, наслаждение! Радость! Видишь, в застолье не только ученики Мои, но и народ, Мне неведомый, числом великий, его Я не знаю, но вижу, и он Меня не знает, забыл, но Я вижу здесь тебя, верный слуга Мой, и не робей, угостись! Еда людская — еда Божия! Я учил о хлебе и вине, о плоти и крови Моей, а гляди, какое изобилие, сколько здесь удивления, изумления, сколько незримого и несказуемого! Вкуси! Иной век! Я превратился во Время. Измеряй Мною течение общей реки, если сможешь, осмелишься измерить. И помни одно: мы тут пируем, а там, куда Я гляжу неотступно, идет война.

Идет война!

Зимняя. Летняя. Вечная.

Вижу: все жадно едят богатые яства, а Господь и женщина близ Него вкушают лишь хлеб и отпивают из хрустальных бокалов лишь красное вино. Женщина отламывает от лепешки тонкими пальцами маленькие куски, прежде чем съесть, держит на ладони, как живую птицу. Господь не глядит на нее. Он глядит вперед. Он, не видя, находит на столе бутылку с вином, не глядя, в сосуд наливает. Я пытаюсь поймать Его взгляд. Вот опять Он смотрит внутрь меня и сквозь меня. Навылет.

Его смерть еще только будет? Она впереди? Или Он уже воскрес, и я вижу пир Второго Пришествия? Губы Его сомкнуты, глаза закрываются, и я слышу Его голос внутри себя: ЭТО НЕ ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ ЭТО БРАЧНАЯ ВЕЧЕРЯ ЭТО ПРАЗДНИК ВЕЛИКИЙ

Кричу Ему безмолвно: понял, Господи, Пасха это Твоя, Ты воскрес нынче!

Я ВОСКРЕС НАВСЕГДА Я ВЕЗДЕ И ВСЮДУ ЭТО БРАЧНАЯ ВЕЧЕРЯ

Женщина не глядит на Него. Она глядит на меня.

Зачем она глядит на меня?

ЭТО ПРАЗДНИК ТВОЙ ТВОЯ БРАЧНАЯ ВЕЧЕРЯ ТВОЯ ЭТО СВАДЬБА Я СЕГОДНЯ ТВОЙ ГОСТЬ НА ВЕЛИКОЙ СВАДЬБЕ ТВОЕЙ <...>

НИКОЛАЙ

<...> Привезли, выгрузили. Холодно, да. Загнали в грузовики. Здесь не бомбили. Шла ли здесь война? Никто не знал. Повезли. Привезли на берег моря. Море серое, цветом в рыбий перламутр, переливается серебристой бедной чешуей, вздрагивает, набегает на берег, тихо шепчет. Прозрачное, слеза. Плачет. Тоскливое. Я наклонился, зачерпнул в горсть воды. Умылся. Соленое. Соль. Слезы. Я умылся чужими слезами. Боль земли. Я тебя не вылечу никогда. Ты так и будешь болеть. И так же будешь плакать. Без меня. Когда меня не станет.

Повели. Долго расспрашивали, писали в толстые тетрадки. Не били. Хотя, может быть, и хотели. Распределили: тебе туда, тебе сюда. Приплыли серые рыбы-люди. Повели в сараи. Тебе в этот сарай, тебе в тот. Мы входили в сараи, они назывались бараки. Длинные бараки, пустые, как стойла для коней, загоны для коров, иного скота. Пола нет, земля, надо спать на земле. Пучками там и сям лежит колючая солома. И здесь не надышишь, не согреешь жалким дыханием морозный воздух: в щели дует ветер, щели забивает метель, уж лучше бы она замела все, все на свете, и вместо нашего барака возвышался бы громадный сугроб, и мы все лежали бы там, внутри, и спали бы вечным сном в белом гробу.

Я забыл, как мы переночевали первую ночь. Все сбились в один большой живой стог. Вздрагивали. Стонали, друг другу мешали спать. Вскрикивали. Кто-то плакал страшно, в голос. Я не помню, в сапогах я уже спал, в валенках или босой. А, вспомнил. Я спал в чужих женских носках. В женском вагоне умерла девушка, говорили, красивая, и мне люди передали ее носки, самовязку, грубая колючая шерсть, чтобы я мог хоть немного укутать промороженные ноги.

Здесь, в жуткой ледяной ночи, среди прижавшихся друг к другу тел, мы уже были не люди с мыслями, радостями и слезами, но просто тела, одно живее, другое мертвее; надсадно кашляла женщина. Захлебывалась кашлем. Сначала я подумал: бронхит застарелый, грамотно не леченный. Потом она стала задыхаться в приступе, и я бормотал сквозь сон: астма, астма, введите адреналин под кожу. Утром, когда человеческий стог распался на множество чуть шевелящихся, страшно молчащих людей, женщина опять закашлялась, зашлась в кашле, задыхалась, и я увидел ее. С затылка. Из-под потрепанной волчьей ушанки на плечи выбились и вольно рассыпались по плечам сенные, пшеничные, соломенные волосы. Это толстая русая коса развилась и вырвалась из тюрьмы на свободу.

Женщина ловила ртом воздух. Приподнялась на руках, ладонями упиралась в голую заиндевелую землю. Умирала от кашля. Я видел ее согнутую, горбатую от предсмертного ужаса спину, плечи, укутанные изношенной, едва ли не собачьей шубенкой. Слепо перешагивая через людей, я добрался до нее. Не видел ее лица. А она кашляла. Не оборачивалась. Не видела меня.

Я наклонился и крепко схватил ее за плечи. Попытался к себе повернуть.

— Я врач! Обернитесь! Посмотрите на меня! Сейчас я вам помогу!

Ушанка свалилась у нее с головы. Лежала рядом с ней мертвым волчонком.

Человек убивает Живое, чтобы одеть, обусть и накормить себя.

Она упиралась, цеплялась ногтями за живую мрачную землю в иглистых разводах утреннего инея, будто кто землю щедро слезами посолил, а слезыньки-то и застыли на лютом морском холоду; я рвал ее к себе, хотел вырвать у смерти, не дать ей, не сейчас, не сегодня. Она разжала пальцы. Ледяная земля набилась ей под ногти. Я повернул ее к себе, и она упала мне на руки — так падает на руки любящему любимая.

Я подхватил ее. Мужской голос рядом изругался коряво. Старухи рядом заохали. Далеко, на краю света, заревел теленком ребенок.

Синие глаза ударили в меня.

Я держал на руках жизнь мою. Любовь мою.

Она глядела на меня. Она не потеряла сознания. Кашель застыл на ее губах. Мне показалось: ее губы покрылись инеем и стали черные, цвета голодной земли. Синева из широко раскрытых глаз текла по щекам, ложилась под ресницы, венозным синим током билась под челюстью, на шее.

Я слышал тяжелые хрипы у нее в груди. Так хрипит изношенный, старый баян с дрявыми мехами. Свист и хрип есть, а звука нет.

И адреналина у меня нет. И шприца нет. И спирта нет. И ваты нет. И ничего нет.

А что у меня есть? Я есть.

— Ничего не говорите. Слушайтесь меня.

Ее лицо синело все гуще. Удушье. Надо было торопиться.

Я расстегнул шубенку у нее на груди. Холщовое платье. Где застегки? Черт, на спине! некогда искать эти чертовы крючки! Порвать! Быстро! Я рвал тугую холстинку, руки обрели чудовищную силу. Люди вокруг глядели на то, что я делаю, и не оставили меня. Глядели на белое тело женщины. Нагое. Такое близкое. Теплое? Холодное? После смерти тело превращается в неизвестную материю. Оно уже не живое и еще не мертвое. Оно между мирами.

Мои ладони превратились в наждак, в два комка белой сухой овечьей шерсти, в две колких вязаных вареги, в две щетки из волчьего жесткого меха, и я стал ими тереть это белое молчащее, недвижимое тело, тереть, мутузить, растирать, мять, колотить, и снова вминать, втирать в него мой неистребимый жар, мою волю, мою победу, и бормотал при этом: живи, только живи, только живи, дыши, согревайся, я согрею тебя, я разотру тебя до огня, дыши, дыши, живи, живи, дыши. Ды-ши. Ду-ша.

Душа.

Какая, к черту, душа. Тело, давай же, давай, быстро оживай!

Нагая грудь, еще вчера красивая, обвислая от голода, торчащие ключицы, решетка ребер, впадина яремной ямки, круглые кости плеч, все это плыло, сияло, поднималось, падало и сверкало под моими руками, а я тер, тер, будто дыры в сияющем теле хотел протереть, кожа постепенно краснела, разогревалась, женщина судорожно вдохнула холодный воздух и опять закашлялась, и я в отчаянии расстегнул мой тулуп, и лег на нее, и сильно, горячо прижал ее моим отошалым телом к земле. К земле.

— Грейся... грейся... молчи...

Я сначала шептал бессвязицу, потом замолчал, она раскинула руки, и я положил мои тяжелые руки поверх ее бестелесных рук, холстина завернулась к локтям, запястья жалко торчали из мохнатых раструбов шубенки, я взял в руки ее заледенелые пальцы и сжал, так умирающий сжимает живую руку напоследок, на прощание. Она чуть пошевелила пальцами, и я понял этот язык. Пальцами она сказала мне: спасибо.

Потом я выпустил из рук ее руки и просунул мои ладони под ее спину. Обнял крепко. Под моей грудью дышала женская грудь. Я вспомнил всех моих женщин, у меня не так-то уж и много их было.

— Грейся... грейся...

И тут она взбросила руки и обняла меня.

Так лежали мы на земляном полу барака, крепко обнявшись, и застыли, как выточенные из дерева, нет, высеченные из камня, как памятник самим себе, и женщина тепло дышала мне в лицо, она была изумлена, потрясена, она испугалась, она замерла, она улыбалась, она дрожала, она жила.

И тут дверь барака подалась. Нас никто не запирает на ночь, с наружной стороны не висело никакого замка, не торчала никакая щеколда. Медленно открылась дверь, сколоченная из ветхого горбыля, и вошел человек.

И никто не посмотрел на него. Все смотрели на нас.

Все молчали.

Спинами, затылками мы видели: вошел чужак, и кто он? Охранник? Узник? Палач?

Чужак не проходил дальше. Стоял у дверей.

Я не мог обернуться. Я грел телом и жизнью моей мою единственную жизнь.

Зато медленно, елозя затылком по заиндевелой земле, обернула голову она.

Я видел, как синие очи ее распахнулись еще шире.

Я почувал, как тихо, страшно она дрожит.

— Кто это...

Она молчала.

Я перекатился на спину и перекатил женщину из-под моей горячей всетелесной тяжести себе на живот. Она лежала у меня на животе, как огромная белая кошка. Найдена. Я ее нашел и больше никому не отдам. Никому.

Ее голова бессильно лежала на моем плече. Ее глаза глядели на того, кто стоял у двери. Не отрываясь, глядели. Не моргали. Рот приоткрылся, из него вырывались короткие, еле слышные хрипы.

Я проследил за ее долгим, как жизнь, взглядом. Увидел.

В открытых в зиму и море дверях стоял новый заключенный. Мой бородатый врач, с ним вместе мы принимали пытку, плененные врагом, и убежали из-под стражи.

Ну, здравствуй, моя война.

Вот ты и настигла меня.

Я узнал тебя.

Губы бородатого доктора дрогнули; я видел, он узнал меня.

А она? Почему ее глаза тоже узнают, знают его?

Кто мы такие друг другу? Все трое?

Стоящий у двери разлепил губы.

Я услышал его тихий голос сквозь подземные хрипы моей больной.

— Ну, здравствуй, моя жизнь.

Кому это он говорил? Мне? Ей?

Я крепче прижал женщину к себе. Ее грудь, беспощадно мною растертая, жарко алела, на скулы взбежала краска. Да, это наша жизнь. Моя, ее и его. От нее не отвертись. И не надо ничего забывать. Ничего. Ни шага, ни вдоха, ни побоев, ни насилия, ни оскорблений, ни пыток. Мы не забудем. Мы! Не забудем! Мы! Победим! Врага!

...А что было дальше, я забыл.

АЛЕКСЕЙ

<...> Господь двумя рыбами уйму народу накормил и пятью хлебами, вот оно, чудо, а у меня тут чудо простое, чудо, Господи, что я живу, еще живу. И ел уху, молясь и крестясь, и так всю из котла выхлебал, и сыт пребывал.

И так научился я сам себе еду готовить.

И мне посчастливилось не только хоронить людей в вечной мерзлоте, но и роды принимать, и крестить.

В сельце Саблино я крестил новорожденного ребенка.

Из Лихого в Саблино прибыла беременная дочь моей погибшей поварихи и вознамерилась тут родить. Брюхатая не знала, что мать ее померла страшной смертью;

от слез-рыданий у нее начались роды, и меня позвали их принимать. Я наклонялся над роженицей, сгибал ей ноги в коленях, кричал: тужься! тужься! Она тужилась, как могла. Не вопила. Терпеливая. Только пот тек по лицу рекой, и вся она истекала, подплывала потом и кровью, серебряными околородными водами, лежала на полу на старом тряпье, вокруг ахали две старухи, да Господи Боже, какие из них повитухи, так, мешали мне, я соображал: нет, кесарево нельзя, да и молодая она, сама родит, прошупал ей живот, предлежание у плода было неправильное, тазовое, он шел вперед ножками, а не головкою, и я мог совершить поворот плода, мог, меня же учили, да что же такое с плодом стряслось, может, он обвит пуповиной, и сейчас там, в утробе, синее и задышается, а ему надо родиться! надо! надо!

Я положил правую руку на низ живота роженицы, а левой стал нащупывать через брюшную стенку головку плода. Толкал. Толкал. Баба охала, стонала. Схватила меня за руки. Я руки ее стряхнул и тихо, внятно сказал ей: я делаю так, что ты сама сможешь родить. Иначе разрежу тебе брюхо ножом. Она коротко визгнула и утихомирилась. Постановывала слегка. Когда я повернул головку как надо, роды пошли как по маслу! Ребенок выскочил из чрева, как из пушки! Мать и я — мы даже понять ничего не успели! Ну, думаю, опытная мамаша. Я промолвил: это не первый у вас? Родильница, с мокрым счастливым лицом, только и повторяла одно слово: первенчик! первенчик! я-то мнила, буду цельну неделюску муцицца!

Я вымыл младенца в корыте, старухи нанесли вскипяченной теплой воды, я глядел на мальчика и думал: ах, мальчонка, может, тебе доведется жить в Мире, где не будет никаких войн, тюрем, пыток, издевательств, где волки тебя не загрызут, и во льдах ты не утонешь, и на костре тебя не сожгут, развлекаясь твоими смертными муками.

Не было при мне моей многостираной рясы. Не было спасительного требника. Не совершал я никогда обряд крещения новорожденного младенца. Что делать? Они все, старухи и хозяин, стояли рядом и ждали и жадно, восторженно и требовательно глядели на меня, то как на Бога, то как на прислугу; они прекрасно знали, что я священник, и ждали от меня того, что я должен был сделать.

— Полотенце мне дайте!

Старуха росточком пониже метнулась на кухню, чуть не упала и доски не клюнула носом, несет полотенце самотканое, я беру полотенце у нее из коричневых, медовых, горько-корявых рук, а руки ее древние, коряги живые, дрожат, она понимает: это уже не полотенце, и я понимаю, высоко полотенце поднимаю и возглашаю:

— Да наречешься ты на сей миг епитрахиль!

Вешаю епитрахиль на спинку стула.

Простираю руки к корыту, где миг назад купал ребенка, и восклицаю:

— Да наречешься ты на сей миг святая купель!

Низкий потолок избы не позволял мне, высокому, выпрямиться во весь рост. Я согнулся, стоял согнувшись. По половицам раздался стук, будто шагала женщина на каблуках. Это в комнату вошел из хлева теленок, цокая копытцами, подошел к купели и, окунув туда морду, немного попил из нее теплой воды.

Старухи повалились на колени. Я смутно думал: ну вот, у нас здесь все будет как в Святом Семействе, как в яслях в Вифлееме, вот и теленок в избу взошел, а там, глядишь, и мать-корова придет, а за нею коза, а за нею овца, и пастухи явятся, приведут собак с волчиными мордами, и поклонятся Тому, Кто наконец пришел на свет, и вот я Ему тоже поклонюсь; а кто же такой сам человек, разве не создан он по образу и подобию Божию, разве в человеке Бог не пребывает, в каждом, во всякую минуту жизни его, и что же мне делать в новоявленных яслях, Господи? Какие молитвы читать, какие мелодии во славу новой жизни петь?

И головою в холодную воду я — прыгнул!

Как в Ледовитый океан — со скалы, унизанной тысячью галдящих птиц!

И стал я громко, торжественно петь и огненно читать!

И я сам, сам те пламенные молитвы на ходу сочинял, и Господь меня простил за это, и не только простил, а в сем новом, северном Вифлееме, в сердцевине лютых полярных морозов, в скрещении кровавых закатных, посмертных ножей, среди расстеленных по выстывшей землице белых парчовых платов, неистово, яростно сверкающих под низким молочным, сливочным Солнцем и под солью-россыпью юродивых звезд, Господь меня — да, меня! жалкого слугу Своего! разнесчастливого, битого-забытого иерея Своего! каждодневного пахаря черноземного-вселенского, безграничного поля Своего! — поддержал, ободрил, обласкал, с небес сильною рукой перекрестил! Так, без слова единого, Он сказал мне: делай, что должен делать, и буду Я тебе помощь!

Не было у меня снежных парчовых одежд, не было белых нарукавниц; не было свечей длинных, вечно горящих, не было кадила, чтобы покадить щедро и густо вокруг купели; а была лишь купель, вот она, еще вчера она была жестяным корытом, и был младенец, красный как вино, лежал на полу на рваной простынке, сучил ножонками и орал, и обрезанную пуповину ему уж обмотали ветошью старухи; и обошел я вокруг купели, поднимая руку, будто бы кадил, и крестились старухи, стоя на коленях, и хозяин, с бородою седой, длинной, чистый старец Симеон, на колени в дверном проеме встал, и низко, в пол, поклонился я им всем, и родильнице нижайше поклонился.

И за диакона глаголил:

— Благослови, владыко!

И, сам за себя, радостно возгласил:

— Благословено Царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь!

И снова за диакона возглашал ектенью:

— Міромъ Господу помолимся... О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся... О мире всего Міра, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся... О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся... О Великом Господине и отце нашем, Святейшем Патриархе... Патриархе...

Слезы сами полились.

Так и лились на рот, на губы поющие, на сияющие слова. На прошлое и будущее.

— О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся... О еже освятитися воде ей, силою... силою и действием... и... и Святым Духом... и наитием Святаго Духа... Господу помолимся... О еже достойну быти нетленнаго Царствія в ней крещаемому, Господу помолимся... О еже сохранить ему одежду Крещения, и обручение Духа нескверно и непорочно, в день страшный Христа Бога нашего, Господу помолимся... О еже быти ему воде сей банею пакибытия, оставлению грехов и одежды нетления, Господу помолимся!.. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию... Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим... Тебе, Господи!..

Ектенью я еще помнил. Все диаконы мои, что мне сослужили, глаголали ее исправно и без запинки. А вот мою тайную молитву, что я над крещаемым шепотом должен был читать, я тихо пел из сердца моего, понимая: забыл, требника нет, молиться надо, и что есть молитва, как не славословие изнутри души? Песня любящего, кровью омытого сердца, что бьется и верит: никогда не умру.

— Боже, милостив буди ко мне, грешному! Боже, смилуйся над нами всеми... Ты все тайны наши один ведаешь. Ничто от Тебя не укроется. Ты нас на ладони держишь.

Мы все Твои птахи, Твои крохи. Все мы обнажены перед очами Твоими. И если что сотворим мы ужасного и грешного, Ты все равно будешь ожидать от нас, безумных, покаяния... а мы-то ведь каяться не умеем никто... Омой, Господи, чистыми Твоими слезами наши скверну телесную и скверну душевную! Ты чист, Ты свят. Подари нам совершенную веру и самую небесную свободу! Мы рабы греха, а Ты человеколюбец. Ниспошли нам великую силу Твою для сражения со злом. Вот человек родился на свет; подари ему, Господи, истину Твою! Пусть пребудет он и душа его, и сердце его в лоне Твоей святой, соборной и Апостольской Церкви... Господи... услышь... спаси и сохрани...

Я помнил: теперь надо громко возглашать молитву, во весь голос.

Старухи все ниже клонили головы и все чаще крестились. Хозяин безмолвно глядел на меня. Он видел меня не в нищей истрепанной одежонке, а в лучезарной ризе.

Восторг светился в его глазах и искрами перебежал на людей, утварь, черные староверские иконы по стенам мрачного сруба, а из тьмы образов наплывало и вспыхивало забытое золото небесной тайнописью.

Рожденный на свет мальчик внезапно замер, перестал повизгивать поросеночком и кряхтеть, умолк, прислушивался к тишине, к шепоту. А когда я стал молиться громко, на всю избу — вздрогнул всем красным тельцем и повернул ко мне лысую голову.

— Чудны дела Твои, Господи! Велик Ты, Господь наш, и славен на всю землю и все небеса! Пою все Твои чудеса, что Ты совершил среди людей, и те, что еще совершишь, о Втором Твоем Пришествии! Ты держишь в руке Твоей всякую земную тварь. Всеми четырьмя стихиями Ты повелеваешь! Огонь, земля, вода, воздух... воздух есть Ты Сам, и Тобою мы дышим! Пред Тобою трепещут все люди и звери, Тебе сияет Солнце, Тебе мерцает Луна... Тебя обступают звезды, к Тебе стремится свет, Тебе раскрываются бездны, тебе немолчно журчат источники... Кожею телячьей ты развернул над землею родное небо! Утвердил Ты родную землю на водах! Обнял ты море великое песком и камнями! Служат Тебе Ангелы... и Архангелы... многоочитые Херувимы и шестикрылые Серафимы... Господи! Неподвластен Ты языку человеческому. Безначальный Ты и несказанный. Явился Ты на землю нашу во образе человека, и, как раб, как крестьянин простой, по пыльным дорогам ходил... и ученики Твои смиренно шли за Тобой... И зрел Ты, как диавол мучит род человеческий, истязает его, и захотел Ты человека спасти! И спас! Ты... спас нас... всех...

Младенец глядел на меня глазами круглыми, темными, бездонными, так глядел, будто все понимал.

— Исповедуем благодать Твою, Господи, проповедуем милость Твою! Девственную утробу Матери Твоей Пресвятой Богородицы освятил Ты рождением Твоим. Ты на земле явился, и жизнь Твою на земле прожил среди нас, человек. В реке Иордан крестился Ты, вошел в воду, и Отец Твой с небес ниспослал Тебе Святаго Духа в виде голубя. Явись и ныне, Господь наш! И освяти сию крещальную воду наитием Святаго Духа Твоего! И дай той воде благодать избавления, Иордана благословение, сотвори источник нетления, дар освящения, грехов разрешение, недугов исцеление... демонов всех погуби, Ангельскую крепость возведи... Да исчезнет зло и все враги Твои от произнесения одного дивного, славного имени Твоего!

Я перекрестил воду в купели, трижды окунув в нее пальцы.

Слова Таинства воссияли в памяти. Я считал их с небес. Эти — вспомнил точно.

— Да сокрушатся под знаменем образа Креста Твоего вся сопротивныя силы...

Дальше будто волна на меня накатила. Сквозь водяную толщу я еле различал буквы, они тут же начинали звучать. Это было диво дивное — я видел словеса, и я их сразу слышал, и они таяли у меня на губах, и под строгим, без дна, взором младенца

я смущался, вспоминая и забывая, терялся, дрожал, боялся, а в страхе душа все равно ликовала, новый человек родился, и я, я крещаю его, Господи!

— Ты даровал нам, Господи, свыше рождение водою и Духом...

Елей, дальше ведь елей... а нет, нет у меня святого масла... вообрази, вообрази...

— Быти, быти тому помазанию нетления... оружию правды... обновлению души и тела... всякого диавольского действия отгнанию... во славу Твою, Отче, и Единородного Твоего Сына, и Пресвятого, благого и животворящего Твоего Духа...

Старуха, что поближе ко мне на коленях стояла, встала, крихтя и задыхаясь, взяла на руки младенчика и поднесла ко мне. Я окунул пальцы в воду и помазал ребенку лоб и грудь.

— Помазается раб Божий... как назвали?.. пока никак?.. пусть будет Алексей, человек Божий... раб Божий Алексей, елеем радования, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь.

Мазал уши.

— Во слышание веры...

Мазал руки.

— Руки Твои, Господи, сотворили меня и создали меня.

Мазал ноги. Младенчик скрючил ноги и захныкал.

— Ходить теперь ему по стопам заповедей Твоих.

Я спросил старуху:

— В какой стороне восток?

Старуха, зажав беззубый рот рукой, другой рукой махнула; там чернели ночные окна непроглядной, довременной сажей.

Я пропел торжественно, глядя на восток:

— Крещается раб Божий Алексей, во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святого Духа, аминь.

А теперь что? А теперь тридцать первый Давидов псалом. Помнишь, не помнишь — пой! Пой, что помнишь! Ты сам себе требник. Ты Господень поводырь, ты Его сюда привел, в ледяную избу на краю света! А может, это ты слепец, а Он твой поводырь, и влекся ты за Ним, на свет и смех Его, на нежно звучащее в ночи слово Его! И так пришли вы оба к людям, во чьей семье пополнение; и откуда тебе знать, как сложится жизнь мальчонки Алексея, на какой войне он сгинет или за какой грех его к стенке поставят и расстреляют; Время не знает никто; но иногда, иногда Время расступается перед тобой, бедный человек, как Черное море расступилось перед воинством Моисеевым, и сомкнулось вновь перед войском фараоновым; и можно в прозрачной, слезно-соленой воде разглядеть все, сужденное на веку. Тебе или кому другому. Другой, он твоя родня. Вы все близко. Вы все едины.

— Беззаконие мое познах и греха моего не покрых... Ты еси прибежище мое от скорби... Веселитесь о Господе, и радуйтесь, праведнии...

Другая старуха встала с колен на удивление легко, как девица. Сдернула с табурета сложенную простыню, встряхнула, развернула. Подала мне. Я закутал ребенка в простынку. Он опять заплакал, громко, требовательно; потом согрелся, умолк. Мать лежала на полу, я время от времени поглядывал на ее красное, мокрое лицо. Она безмолвно улыбалась и вытирала лицо ладонью.

— Облачается раб Божий Алексей... в ризу правды... вот имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь...

И некому со мной, одиноким, было петь последний тропарь, и сам я его спел, один, светло и сурово, может, и мимо нот, а может, и верно.

— Ризу мне подаждь светлу! Одейся светом, яко ризою! Многомилостиве Христе Боже наш!

Я положил младенца матери на грудь и воздел руки. Сам весь превратился в одну хвалебную песнь Господу. Старухи подхватили за мной немудреный мотив тропаря, дребезжащими голосенками грянули:

— Яко ризою!.. Многомилостиве... Христе Боже! Наш!

После Таинства Крещения меня старухи угостили блинами из серой муки. Я давно не едал ничего более вкусного. Когда съел последний на моей миске блин, старуха, похожая на тощую девочку, вот на тебя, дитятко, чем-то похожая, длинно, долго поглядела на меня и заплакала.

<...> Приказ, я ждал приказа. Есть власть, и есть человек, ее слуга. Я пребывал слугою Господа, и я смирялся перед властью страны моей: ведь я сам возносил молитвы за здравие владык наших в каждой Ектенье. Приказ раздался с ясного многозвездного неба. Меня срочно вызвали в Туруханск. Я ехал в телеге, лошадь еле плелась. Ехал в нартах, на собаках: десять могучих собачин в нарты запрягли, впереди сидел каюр с деревянной длинной палкой, позади я, в тулупе необъятном, меховой горой. Собаки сперва бежали дружно и весело, потом вдруг стали, зарычали, сцепились лапами, зубами; передрались. Я сидел и глядел, как псы дерутся. Вот так и люди грызутся; и кто нас разнимет навеки, какой каюр?

Господи, зачем Ты положил горем нашим, на все времена, ненависть и войну?

Ночевали мы во всяких избах, и в зажиточных, и в нищих. И в нищих избенках люди были добрее и теплее, а в богатых срубках — надменнее и жаднее; хорошо, каюр взял с собой в дорогу кожаный мешок с провизией, и время от времени, пока мы ехали, вытаскивал из мешка разную еду и мне, не глядя, через плечо совал: то вареное яйцо, то кусок солонины, то вяленую кумжу. На морозе я не мог угрызть мясо и рыбу: они превращались в камень. Я дрожал от голода и смеялся над собой.

Прибыли. Сгрузили меня с нарт на машину, и градоначальник повез меня в больницу. Чертыхался. Полбольницы народу умерло от неизвестной инфекции. В городе тоже люди начали помирать. Меня призвали определить болезнь и спасти оставшихся. Господи, молился я, дай сил и вразумления! Вошел в палату, поверх маски оглядел больных. Подошел к одному, откинул одеяло. Рубаху задрал. Так и есть. Красно-розовые пятна по животу. Сыпь. Больной положил руки на лоб и сморщился.

— Голова... раскальвацца... дохтур...

Я укрыл его тощим верблюжьим одеялом и возвысил голос.

— Все белье в прожарку! Дезинфекция! Дезинсекция! Всей больницы! Уничтожить вшей! Где хотите раздобыть лимонов! Ударные дозы витамина цэ! У кого осложнения на сердце — камфора внутримышечно! Влажная уборка!

— Война ить идет... а нам солдатиков привезли, а у них вши... мы-то думали, уничтожили... в стирку портки да гимнастерки... а тут вон...

Нянечка топталась возле меня, лепетала, слезами заливаясь.

Война. Где-то шла война. Далеко от моего ссыльного Севера. Ан нет, и сюда добралась. И стала косить людей.

— Дохтур... ково паралик разбил... кто ослепши, не видит уж ни шиша...

Я шел по палате, как вихрь, откидывал и набрасывал на людей одеяла. У всех сыпь. Все стонут.

— Врачи где?!

— Ах, с нами крестная сила... Господи, помози... перемерли почти все дохтура-то... одне нянюшки остались...

— Хоть один врач?!

В палату медленно вошел человек в длинном белом халате. Полы халата били его по пяткам. Я подошел и быстро, нахально расстегнул на его груди пуговицы халата, рванул воротник рубашки. Сыпь.

— Почему вы, инфицированный, не ляжете на лечение?!

Доктор pokrивил рот. Так он пытался улыбнуться.

— Кто же бы их всех... лечил...

Показал на всех глазами. Рукой не было сил показать. Руки у него так и висели, веревками вдоль тела. Он качнулся, как пьяный, я подхватил его, довел до койки и усадил. Сам раздел его, до нижнего белья. Снял с ног его обувь. Закинул ему ноги на матрац.

Подумал и стащил с него сорочку и кальсоны. Он не сопротивлялся.

Я обернулся к нянечке. Швырнул на пол белье врача.

— Стирка! Дезинсекция! Руками не прикасайтесь! Щетка, совок, ведро!

Нянечка ушла, причитая, уткой переваливаясь с боку на бок.

Больные в палате молчали.

Я понял, почему меня вызвали из Саблина.

Все врачи туруханской больницы умерли от сыпного тифа.

<...> Пронеслось пространство, и укатилось Время. С ним машины, собаки, лошади, телеги, олени. Привезли меня в Дудинку. Прямоком в порт. В длинном, как рыба, доме на берегу, у самой кромки зальделой воды, накормили, напоили. Я ел и пил, как во сне. Мне снилась моя жизнь. Я хотел совершить в ней подвиг. Хотел геройства. Хотел умереть в криках и знаменах, с боем и славой. Хотел на войну. А вместо войны меня держали взаперти. Слава Господу, я тут, в подзвездной тиши, под изумрудными веерами и красными кружевами полнощного Сиянья, делал свое дело: лечил людей.

Мне кинули: сиди и жди, теперь уже скоро. Пришвартовался ледакол, меня к нему повели, спустили с борта трап. Я поднимался по трапу на корабль, мой мешок бил меня по спине. Навстречу мне двинулся моряк. Бушлат расстегнут, бескозырка сдвинута на затылок. Уши на морозе красными лампами горят. Я понял: не капитан, простой матрос. Он протянул мне руку, и я пожал ее.

— Мы заключенных везем, с Чукотки и Новой Земли, на пересылку. Вот вас захватили и еще четверых, тут. Вы не в трюме поплывете, в каюте, с этими четырьмя. Жратвы особой нет. Запасы для команды. Разносолов не держим. Нам приказано доставить вас на остров Анзер. Плыть долго. Не виноват, ежели оголодаете. В трюме народ помирает, мы в море выбрасываем, рыбам. И даже в мешок не зашиваем, мешков нет. Есть орудия и снаряды. И то хорошо. Все понятно?

— Все.

— Ну и лады.

На палубе никого, кроме нас. Морячок махнул рукой: мол, иди вон туда. Я пошагал. Вошел в тесное железное брюхо корабля, увидел отворенную дверь и шагнул туда.

На железных койках, привинченных громадными болтами к стенам каюты, сидели люди. Четверо. Они воззрились на меня мрачно, тягуче, липко. Сухопарый мужик с серебряной фиксой во рту, в закатанных до колен штанах показал мне на рядно, не-ряшливо расстеленное у стены.

— Вот здесь спать бушь.

Мужик в волчьей шубе до пят ласково пояснил:

— Все четыре койки заняты. Не обессудь.

Я молча перекрестился и сбросил с себя тулуп. Потом снял белый халат. Узники увидали мою бывалую рясу.

— Ух ты! Да ведь Бога-то никакого нет!

Я молчал.

Потом выпростал из-под рубахи нательный крест и навесил его поверх рясы. Ладонью к сердцу прижал и так ладонь держал, будто крест Господень есть малая птичка, и только я руку отпущу, взлетит и улетит, и поминай как звали.

Медный крест, крупный, грубо сработанный, под ногами Распятого череп Адама, зеленая накипь Времени на потертой красной меди проступает, иззелена-сизая, ледяная, вот она, смертная пытка, и Он ее претерпел, перенес, за нас за всех, да воскреснет Бог и разыдутся врази Его, и да бежат от лица Его вси ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут... яко тает воск от лица огня...

Я не замечал, дитя мое, что я уже читал Давидов псалом вслух, а все люди, четверо, сидят, и слушают, и думают, каждый о своем, и глядят на меня исподлобья, гадают, враг я или друг, священник я истинный или маскарадное то одеяние, я подсадная утка, а может, я английский шпион, а может, я тевтонский прихвостень. Кто я? Зачем я здесь?

Я закончил молитву, взял в пальцы крест и поцеловал его.

И каждого в каюте осенил крестным знамением.

Трое мужчин робко перекрестились. Мужик в волчьей шубе пожал плечами.

— А што же твой Честный Животворящий Крест, твой Бог нас не спас? А на мученья поволок? Где Он, твой Бог? Где спит-почивает?

Я молчал.

— Што молчишь? Нечего сказать?

Я молчал.

— Ну давай, што тушуешься! Ты жа поп! Балакай проповедь твою!

И тогда, девочка моя, я глубоко, до дна легких, вздохнул и выдохнул:

— Все людские страдания — Божии испытания. Они посланы нам, чтобы мы их приняли, их переносили, за них благодарили и их преодолели.

Узники молчали.

А что было говорить.

<...> Так плыли мы и плыли, во брюхе великанской железной рыбы, подобно Ионе во чреве кита, и я хотел увидеть, что нас ждет, и закрывал глаза, и молился, и тщился рассмотреть фигуры и знаменья, восстающие со дна глазного, со дна неведомых времен, — и не мог; дребезжание ледокола, холод железного пола, когда из-под спины вбок, как змея, теряющая шкуру, уползала грязная рогожа, заслоняли чаемый Мирь Невидимый; и я молился только об одном: Господи, дай ты мне силы еще на земле ли, на море, посредине пучины бездонной, пожить, и да, Господи, вот из этой железной кружки, путевой подружки, угостят, ведь не звери, ведь люди, горячего, дымного, страшного, вечного чаю еще попить.

<...> Как рассказать тебе о смерти? Ты такая маленькая, такая юная. Ты не поймешь даже самого этого слова. Посмеешься. Плечами пожмешь. Мы все время думаем о ней, но вслух ее имени не произносим. Мы пережили в Северном океане морской бой и переплыли смерть. Я молился, и, возможно, случилось чудо. Наш ледокол, сторожевик, и номер военный белилами боцман намалевал у него на борту, чудом отстрелялся от вражеского тяжелого крейсера. Ледокол пострадал, да, а на крейсере палили в нас, да все мимо; Господь отводил от нас вражеские торпеды. Раненые, с пробоиной, мы ушли вдаль, да и крейсер повернул прочь, мы наблюдали. Битва вспыхнула и оборвалась, как во сне. Я молился за героев, а пробоина пришлось выше ватерлинии. Матросы откачали воду из трюма насосом; людей, кто в трюме плыл, спасли, но иные захлебнулись, их вышвырнули в море. Капитан велел утяжелить ледокол по здоровому борту. Я спустился в трюм. Лучше бы я не спускался туда. Я привык к виду людских страданий, а таких искаженных болью лиц я не видел ни в одном госпитале, ни в одном своем лазарете.

Деточка моя, я проповедовал им. Иногда слово — это бинт, останавливающий буйную кровь, это блаженная марля, пропитанная нежным пахучим маслом. Я говорил и сам себя не слышал. Понимал: надо просто говорить, говорить, и легче станет. Пробоину заткнули старым брезентом; вот так и я, собой затыкал бреши и сквозные раны в людской плоти и людских душах.

Бой забылся и не забылся. Память — зеркало; в ней Время плывет и гаснет, уплывает, мерцая, а потом зеркало поворачивают чужие незримые, сильные руки, и как вспыхнет в дальнем углу тьмы упрямый, торжествующий свет! Я состоял из мрака и света, и, говоря Божие слово, я понимал всю малость мою и весь грех мой. Беда человека в том, что трудно, а бывает, и невозможно подняться ему по золотой лестнице Иакова от тьмы — к могучим Божиим лучам. Человек смеется над собой, смеется над Богом, не верить легче, чем верить! Вера есть труд! А душа, что ж, она так устает, она так часто хочет отдыхать. Вечного отдыха хочет.

Закрывать глаза... и не проснуться... зеркало — разбить...

Душенька...

И был день.

Пришвартовались. Серая вода, цвета тюленьей кожи, плескалась возле громадных камней. Камни гляделись великаньими черепами. Кладбище великанов, острый запах йода. Далеко, в сизом мареве, парил крылатый призрак монастыря. Сошли на берег по крутому трапу. Я качался от слабости. Капитан присвистнул, меня узрев: эка ты исхудал, мил человек! Я услышал его возглас словно изнутри зеркала. Я был бесплотным зеркалом, отражавшим Север, монастырь, причал, кнехты, Мирь, жизнь, невольников, обитателей трюма, моих спутников, немытых-нечесаных, и мой зеркальный острый, кинжальный зрак врача безошибочно определял, кто чем болен, и ставил диагнозы: у этого желтуха, у этого стенокардия, у того цинга. Я не мог скальпелем вырезать страдание.

Я ничего уже не мог; прежде чем нас погнали в барак, нас обыскали, и у меня из дорожного мешка изъяли мой контейнер с хирургическими инструментами и верным шприцем.

Теперь я не мог никого спасти при помощи железа и стекла.

Я мог только молиться за страдальцев.

<...> Мы добрались до серого сарая, моих спутников повели дальше, куда, я не узнал никогда, а меня одного оставили стоять напротив двери.

— Што стал! Открывай! Да входи!

Я осторожно толкнул дверь. Она подалась под моей ладонью.

Я переступил порог и остановился.

Я увидел.

На груди у того, с кем я побывал во вражьем плену, лежала моя Душа.

Она лежала на его груди, подобно приبلудной кошке.

С ужасом она глядела на меня.

А доктор, мой брат, фамилию его я запомнил, имя тоже помнил отлично, обернул ко мне лицо и тоже меня увидел и узнал.

Я видел, что узнал.

Мы, все трое, узнали друг друга.

— Ну, здравствуй, моя жизнь.

Это я сказал.

Это я сказал? Или он сказал?

А может, это она прошептала? Душа моя?

НИКОЛАЙ

Я не благородных кровей. Я не рыцарь. Я не давал обетов и никогда не клялся ни в чем. О, нет, конечно, клялся. Клятва Гиппократ! Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигиеей и Панацеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими недостатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.

Но никому, слышите, другому. Моя Душа больна. Тяжело больна. Смертельно. Не отрицаю. А толку отрицать? Я же вижу. Лечение! Давай не давай никчемные клятвы, все равно она умрет. Если она умрет, умру и я. Ах, какие сантименты! Смотрите-ка, люди! Дивись, честной народ! Любовный хороводят хоровод! И где? В неволе!

Тьфу, неволя. Вся жизнь неволя. Мы никогда себе не принадлежим. И правда, зачем себе принадлежать? Жизнь слишком мала, чтобы постоянно услаждать желудок и вкусовые сосочки, сладко есть-пить, а потом оглянуться вокруг и застыть от ужаса: а что же я сделал в жизни, кроме того, что жрал, ел-пил и спал?

Врач, он неусыпно делает святое дело. Святое? Да самое обычное. Отводит от больного голыми руками смерть. Ну, не голыми, в резиновых перчатках. Душа моя, я не могу вколоть адреналин тебе под кожу! Я узнаю, есть ли тут, в этом гадючнике, лазарет. Должен быть! А если эпидемия! А если чума! Куда чумных будут девать!

Делов-то. Расстреливать и сжигать. На громадных кострах. Там, за Голгофо-Распятским скитом. На морском берегу.

А вот он, вот. Ташится. Собрат! Кой бес его сюда принес! За надобой какой!

Не думал, не гадал. Встал передо мной, как лист перед травой.

Душа моя, как ты себя чувствуешь? Хорошо ли спала? Руки твои холодные. Дай дыханием погрею.

Она, сидя на грязном ящике из-под картошки, протягивала мне руки. Я мял их и дышал на них.

Сидел перед ней на корточках и смотрел на нее снизу вверх.

Этот, доктор Алексей, святой батюшка, язвы его, подходил, как на ладье подплывал. Медленно и важно. Ряса по земле волоклась.

Кому и на кой в Аду эти ряженые.

— Доброе утро! Бог помощь во всем! Как спалось?

— Живы, как видите.

Улыбался юродиво.

— А я, знаете, коллега, кое-что сделать сегодня решил.

— Да что вы говорите? Рад за вас!

Душа моя глядела в глубь меня, и синева ее радужек наливалась темным гневом.

— Зачем вы так с ним...

Кашляла. Задыхалась.

Астма. Тяжелейшая форма.

Я бы мог. А что! Пересечь ветви блуждающего нерва в области правого легкого. Опасно, да. Но эффект! Он может быть. Удалить легочные узлы блуждающего нерва

и в левом легком, а почему бы и нет. Симметрично. Дикие спазмы у нее точно исчезнут. И эмфизема ее не погубит. А так она однажды задохнется, и... Что «и»? И я — за ней?

А можно сделать... да, вполне... резекцию внутренней ветви верхнего гортанного нерва. А у меня тут ни оптики под рукой, а мне увеличение надо большое, желательны цейссовские стеклышки, ни микроинструментария. Проклятие!

— Я решил попроситься врачом в здешний лазарет.

Я грубо бросил руки Души моей прочь, как если бы это были два надоевших котенка.

Встал, разогнул занемелую спину и невежливо уставился на собрата.

Бородица у него за эти годы выросла: целый лес. И поседела, это понятно.

Куда мы денем Время? Загоним под лавку? Сожжем на костре?

— Хорошая мысль. — Я изо всех сил старался быть вежливым, воспитанным. — Всегда будете при жирном куске. По крайней мере, с голоду не помрете. Как...

Я обвел насельников барака бешеным взглядом. Не захотел добавить: как мы все.

Он и так понял.

Очки с круглыми совиными стеклами дрогнули на его большом носу. Борода тоже задрожала. Он сдернул очки и растерянно, судорожно стал протирать их складкой рясы. Опять нацепил на нос.

— А вы? Вы-то почему не хотите лазарету предложить свои услуги? Ведь люди же тут. Живые.

— Мы с вами тоже живые.

— Именно поэтому мы должны...

— Мы ничего никому не должны. Помолитесь вашему Богу, если вы правда верите в него.

Его глаза, из-за круглых детских стекол, бегали, шарили по моему лицу, пытались доискаться во мне того праведного, что сквозило, дышало за грубостью и глумлением.

— Зачем вы так...

Душа моя тихо поднялась с ящика из-под картошки и тихо прошла мимо нас.

Ее захлебный, дикий кашель я услышал уже далеко от барака.

И он — тоже услышал.

— Она больна. — Он шагнул ко мне ближе. — Тяжело больна. Ее ни в какой лазарет не положат. Оставят умирать так. Как всех. Как нас самих. Если мы с вами будем там... и будем исполнять наш долг... и будем трудиться... как раньше в миру трудились, как на войне трудились... мы ее спасем. Поймите это! Спасем. Вы... давали ведь клятву Гиппократата...

Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, несправедливого и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.

— Свободными и рабами...

— Что, что?! Вы о чем...

— Я буду далек от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами!

Я заорал так, что сам чуть не оглох.

Доктор отшатнулся.

— Господи, помоги...

— Пусть Он лучше вам поможет!

Он положил руку мне на плечо.

Я хотел вцепиться ему в бороду, но удержался.

— Да. Мне. Я пойду к начальству. Я... попробую...

— Вас расстреляют, дурак вы!

— Что бы при лечении, а также и без лечения я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому!

Я сначала не понял, что он произносит последние слова клятвы Гиппократовы.

— Славы захотели?!

Он снял руку с моего плеча, и огонь вырвался из-за круглых велосипедных стекол его очков и ожег мне лицо и внутренности. Я даже обрадовался: я еще не научился чувствовать.

— Как вы можете. Я иерей. Слава для меня — гордыня. Один из семи смертных грехов.

Там, далеко, у самого берега моря, в виду ледяных волн и оглушительно визжащих чаек, задыхалась Душа моя.

<...> Начальник пошел по коридору, мы за ним. Он сапогом, чтобы рукою не хвататься за дверную ручку, открыл дверь в палату. И мы вошли.

Старое монастырское здание. Комнаты под сводами. Раньше тут по стенам рассыпались цветные росписи, туда-сюда ползли фигуры, богомазы наводили красоту. А теперь все было гладко, до пустоты, выбелено; да известь потускнела, погрязнела, по ней полосами шли потеки, будто в палатах то и дело шел дождь.

Хорошо бы хоть краем глаза глянуть на ту, прежнюю жизнь. Люди что тогда, что сейчас одни и те же. Одинаковы. Все мы из одного теста слеплены. Неважно, когда тебя мать выродила: тысячу лет назад или вчера. Ты человек, и это главное.

На койках валялись люди, люди, люди. Они все смотрели на нас. Искали глазами наши глаза. Они глазами искали надежду. Хоть малюсенькую. Как человек жаждет жить!

В палате, битком набитой людьми, больные лежали на кроватях, раскладушках, на старых сундуках, на составленных рядком табуретах и на полу, поднялся нестройный шум.

— Новый доктор...

— Дохтур, дохтур!.. А вот вы взрезаете ли грыжу! У меня, помимо огнестрельного, грыжа, знаете ли... умучила...

— Доктор... спасите... задыхаюсь... голоса нет...

Я подходил к койке. Женщина клала птичью лапку костлявой руки на забинтованное горло. Наружу, из-под повязки, выходил резиновый дренаж.

Рак гортани. Я уж тут ничего не поделаю.

Да. Я точно не Господь Бог.

Начальник лазарета обвел нищее царство больных толстой рукою, жестом властным и победным.

— Выздоровливают, выписываем. Безнадежные... безнадежных...

— Отвозим на катере далеко в море и выбрасываем за борт, — докончил я за него.

Больные слышали. Кто-то на далекой койке тихо заплакал.

— Ну вот, на войне не плакали, а здесь ревут.

Важно было притвориться сердитым.

Если ты сердисься, значит, ты силен.

Я быстро обошел палату. Около тех, кто на полу лежал, я садился на корточки и так слушал пульс, смотрел состояние слизистой — веки, язык — и проверял рефлексы.

— Тебя, тебя, тебя — сегодня на операцию!

Пальцем тыкал людям в грудь, как в школе указкой — в таблицу.

— А это не больно?!

— Жить вообще больно. И опасно.

Доктор бороду потерял. Снял очки и прикрыл ладонью глаза. Так стоял.

Я бросил ему:

— Ваш — с грыжей, вон те, с гнойным огнестрельным и со свищем двенадцатиперстной, мои. Лады? Пошли переодеваться. У вас тут мыло есть, перчатки, халаты на завязках?

Начальник мотал головой, тройной подбородок трясся испуганно.

Душеньку я приглашал в лазарет. После операций я любил выпить, нет, не спирт: чашку крепкого, крепчайшего чифиру, и выкурить папиросу, да, одну, но так сладко ее искурить, чтобы уж больше на весь вечер и всю ночь курева не захотеть. Я любил там сидеть, в полутемном лазарете, смотреть на плывущее в полумраке лицо Душеньки, иногда спрашивать ее о чем-то тяжком, ненужном, нежном или горьком, да все равно.

Зачем вопросы? И так все ясно. Молчание красноречиво. Оно необъяснимо. Слова ему мешают. И однако, без слов не обойдешься. Слова вроде бы мусор, но какая площадь без мусора? Его взад-вперед носит ветер. Носят мои безумные мысли. Я только делаю вид, что я нормален. На деле я безумец, и поделом мне.

Сижу, потягиваю чифирчик, как крепленое вино. Душенька сидит напротив, испуганно глядит, запахнувшись в тулуп. Потом чуть дает слабинку. Вздыхает вольно и глубоко. А слишком глубоко вздохнув, кашляет. Она кашляет тяжело и запойно, и я понимаю, сейчас кашель перерастет в приступ, и мне нечем будет его снимать. Я протягиваю ей чашку с горячим чифиром.

— Выпей. Полегчает.

Она послушно, задыхаясь, глотает.

Переводит дух.

Я внимательно смотрю на нее.

Я люблю ее.

А виду не подаю.

Да она знает все и так. Давно.

— Спасибо.

Протягивает чашку мне. Я беру и отхлебываю. Мне хорошо пить чифир из чашки, из которой пила она. Касаюсь края чашки губами там, где касалась она.

— Расскажи мне, как попала на войну.

Душенька пожимает плечами под тулупом. Она выпила чифиру и теперь как пьяная.

— Я ведь медсестра, Николай Петрович.

— Можно без Петровича.

— Войну объявили. Весь медперсонал сразу в армию. Наш госпиталь, почти весь, на запад ушли. Заводы перешли на выпуск оружия. До нас самолеты врага долетали. Бомбили. Мы танки, зенитки, пушки выпускаем, на фронт отправляем, а они тут же попадают под обстрел. Эшелоны бомбили кошмар как. Город-то затемнят, а рельсы нет. Все видать. Каждый поезд. Войска отступают. Враг прет вперед. Раненых тьма. Лазареты заваливают ранеными... людей... ну... как бревна, сгружают. С телег. С гру-

зовиков. С вагонов. Медикаменты то есть, то нет. Мы лазарет наш разместили, будете смеяться, в вагоне.

Я подливал в чашку кипятку. Дрожал.

— Почему ж буду смеяться. Не смеюсь я. Слушаю тебя.

Она вздохнула прерывисто, так вздыхают дети после плача.

— Койки, утварь всякую, белье там... Николай... Петрович... оставили в госпитале в городе. Мы без ничего. А раненых море. И вагон стоит, ночами оперируем, окна светятся, с воздуха летчикам видать. Бомбят! У нас сколько там поубивали народу. Раненых... сестер... врачей тоже. Врачей жалко, ужас. Бомбежка, мы из вагона выбегаем и бежим в поле. А летчик, вражина, летит за нами. В нас целится. А на реке что творится! Река-то у нас большая. Широкая. Беженцы на баржах, на плотках... на катерах... техника... люди, люди, войска, людей тьма-тьмущая... И, знаете, никакого радио. Сводки не слушаем, что да как на фронте. Только догадываемся. Потом из вагона нас... ну, можно так сказать, вынули... и... и...

Она замолкла потому, что я коснулся рукой ее холодных пальцев, сжимающих круглую, в форме уха, ручку чашки.

— Говори. Не молчи.

— Я не молчу. И переправили... в бывшую школу. В октябре уже морозы ударили. Отопления нет. Раненых все везут и везут, и прямо на пол кладем, на тряпки, на солому... на шинели. А еда? Есть-то из чего? Не из чего. Нету посуды никакой. Ложки только у солдат в вещмешках, да один котелок. Один на всех! На весь лазарет. Машина приехала. Вел ее важный начальник... красивый такой.

— Красивый?

— Ну, может, нет... представительный. Он нам в той машине вату привез и ткань, шить матрацы. Мы матрацы шили, ватой набивали. В одном котелке, в пять присестов, жратву на весь лазарет варили. Потом доски на той же машине ребята привезли. Мужики изготовляли из тех досок раскладушки... А раненые лежат, мечутся, бормочут, орут, бредят. Умирают! И я как будто... с каждым... вместе... умираю...

Между нами странным причечным туманом, маревом колыхался сумеречный воздух.

— Ты только сейчас не умирай.

Я осторожно вкладывал горячую чашку ей в пальцы. Она обхватывала чашку руками и беспомощно, сиротски улыбалась. Синие глаза горели синими свечами.

— Кладем больных на раскладушки... а раскладушки шаткие... корявые... непрочные ножки... подламываются, раненые падают, чертыхаются, стонут, кричат. Падали... и прямо на полу — умирали... и мы их на мороз выносили, на холод, чтобы... ну... сами понимаете...

— Понимаю.

— А вороны налетят... и глаза мертвым выклеивают... ну, сами понимаете, птицы, зима, голодные... хлеба нет, зерна нет, насекомых нет... ничего нет...

В темном коричневом окне, далеко, в направлении моря, горел тусклый свет. То ли забытый маяк, то ли снега под звездным небом туманно отсвечивали, то ли Сияние медленно танцевало, то ли в небесах мерцала керосиновая лампа, и кто подкрутил фитиль, неизвестно.

— А тебе самой хлеба хотелось...

— Да... еще как... есть хотелось все время... и холодно, все время холодно, мы пытались натопить печку от души, чтобы весь школьный дом прогреть, да куда там. Здание большое. Как дворец. Не протопишь. Так и мерзли. Руки под мышки сунешь... а потом в ладони дышишь, дышишь... не надышишься... Солдатики научились, пока на койках без дела валяются, изготовлять всякую всячину полезную. Кто чайник сма-

стерит. Кто миску из жестяной банки. Кто соорудит чашку из коробки стальной, квадратную чашку, ну да наплевать, ручка есть ухватиться, пить можно. Один раненый даже светильник сделал. И горел! Представьте! Горел!

— Представляю.

Я ставил на стол пустую чашку, и сердце билось как у больной собаки. Пульс сто пятьдесят, как пить дать.

Душенька, склонив голову, глядела на меня нежно и напуганно, ее наклоненное набок лицо сильно напоминало икону в старом храме на морском берегу, меня доктор Алексей туда завел однажды, дверь была замкнута всунутым в щеколду громадным чугунным гвоздем времен Стеньки Разина.

— Ну вот... о чем еще сказать-то... да вы и так догадываетесь...

— Нет. Да. Догадываюсь. У всех у нас все похоже.

— Раненых лечили... как могли... хирурги, вроде вас, операции делали.

— И ты — операционной сестрой?

— Да. Я много чего умею... при операции.

— Ух ты, это здорово. Я тебя на операцию возьму.

Она косила вбок синевой огромных, речных, озерных глаз.

— Можете... я при вас боюсь осрамиться.

— Ничего не бойся.

— Выздоровливали ребята... и опять на фронт... а куда же еще... А потом на фронт штрафников стали посылать. Из тюрем, заключенных. У нас воевало много разбойников... убийц. Им убивать было не привыкать... Они, знаете, не только врага убивали... они — и наших убивали... своих, родных... разворовали в лазарете все, что могли, утащили матрацы, подушки...

— А это еще зачем?

— На спирт менять, на водку менять... пить-то им надо, пить душа просит... У нас сестер, кто недосмотрит, а кража произойдет, под суд отдавали: недоглядели! Суд, и все! И осуждали... и срок давали... бандит украдет, а сестре — срок припаяют... вот так...

Я клал ладонь ей на руку. Чужая: она потихоньку согревалась.

— Душенька, жизнь, она несправедлива. Правды — мало.

— Зато, знаете, они, бандиты эти, как отлично воевали... сражались, как звери... сколько врага положили, не счесть... Героя им многим давали... Они города освобождали... люди в городах, в селах, наши войдут, а в первых рядах — наши бандиты, родные, лазаретные, их обнимали, им руки, плечи целовали... Нас опять в поезд погрузили: передислокация! Однажды мы, сестры, захотели сварить каши бойцам. Набрать воды надо было далеко, на вокзал пролезть под эшелонами. Мы котелки и кастрюли подхватили, поползли под поездами, как гусеницы... Воды набрали в колонке привокзальной. Возвращаемся, такой же цирк бесплатный. Ах!.. а эшелон наш умотал. Вот горяшко! А мы смеемся. Кашу на костре, на улице, сварили. Крупа-то была у сестры Ольги в рюкзачке. Всем голодным раздавали! Все нас ой как благодарили! А мы уж и смеемся, и плачем, и кашу ту сами из котелка хлебаем, пустыми консервными банками, губы раним... А тут попутная дрезина шурует. Ну, мы в нее попрыгали да кричим: скорей, скорей, догоним эшелон!

— И догнали?

— Да, Николай... Петрович... Николай... догнали...

Она уже не пила чай, приоткрыв рот, тяжело дыша, во все глаза, будто я был зверь диковинный, смотрела на меня.

Я сам не знал, что делаю. Наклонился и припал губами к ее рукам.

И она рук не отняла.

— Не молчи...

Она говорила, будто в этом говорении, в бесконечном течении сбивчивой, тихой, задыхающейся речи и заключалось все счастье, весь смысл того земного времени, что мы с ней вместе здесь и сейчас проживали.

— Да, да...

— А дальше...

— А дальше... ох, тяжело все это... вспоминать... да вроде все в прошлом... время... оно затянет все. Все раны. Враги сначала наших подмяли... в бывшие казармы бросили. Колючей проволокой в десять рядов обмотали. А потом наши наступали, отбили. И наши в лазарете, и врага туда затолкали, в эти же казармы. Враги там сидят-лежат. А раненых среди них — ух, куча! И на нас, на сестер, их навалили. Говорят нам: то пленные, мы расстрелять их не можем, а перемерут, тоже непорядок, лечить надо. Лечить?! Врага?! Вражину лютого?! Зверину?! Да провались все на свете! Не будем! Орем, отказываемся. Мы и так как рабы в рудниках. Дежуриим, уколы делаем, перетаскиваем из операционной в палаты... стираем, варим, кормим... грузим в машины, в вагоны... продукты с вокзала привозим на себе, на горбу... и опять уколы, судна-утки, кровь, обработка, перевязки, охрана, все-все-все... все это мы, сестры... А тут еще пленных на нашу шею! Ну уж нет! А нам орут: да! Будете! Лечить! И ухаживать! И спасать! И все такое! Мы орем в ответ: врага?! Да ни за какие коврижки! А нам орут: это приказ! Вот на войне... такое слово есть... приказ...

Я отнял губы от ее теплых рук. Глядел ей в лицо.

— Не молчи.

— Я не молчу. Вот про операции тяжеленные помню. Врезалось мне это в память на всю жизнь. Осколки у солдата удаляли. А тут бомбежка. Ну и что, что у нас на казарменной крыше Красный Крест. Это врага не волнует. Вы же сами знаете. Пулеметы затарахтели. А мы оперируем не в казарме, а в палатке. Лазарет расширился, раненых девать некуда, и часть лазарета в палатки-временки тогда засунули. Бомбят, а хирург у нас был такой, смелый, вроде вас, Николай... и... ну, продолжает операцию... Если прервется, все, раненому каюк... И все мы, сестры, у стола стоим... Никто не уходит... никто. И вдруг бабах!.. рядом с палаткой. Взрыв. Уши у меня заложило. Оглохла. Ничего не слышу. Потом услышала вой. И гул. Гудение жуткое. Самолет на бреющем, видать, шел... Мы все, врач и сестры, целы... а больной на столе мертвый лежит. В него, беднягу, осколок попал... да прямо в грудь... и перебил аорту... кровь так хлестала, я думала, нас затопит... лежал на столе в красной луже... А хирург наш говорит: счастливцев, умер, не ведая, что умирает, ведь он под наркозом... ничего не почувствовал... это же чудо, как вы думаете, как?.. Чудо?.. Чудо?..

— Это не чудо, а ужас.

Я не мог говорить.

И ужас, и чудо были слишком рядом. Я дышал ими.

— Да ведь и ужаса мы навидались... еще какого... Опять нас в казармы утолкали. Наркоз у нас кончился. Делали операции под местной анестезией. Раненый все видит, слышит. В зубы ему сует иной раз ложку, иной раз палку. Все равно орал. Ложка со звоном падала на пол... а больной блажит так, что оглохнешь не хуже, чем от контузии... Впадали в болевой шок, а из него, вы знаете, трудно так просто вывести. И вот я руку в карман халата сую... а там у меня фляга... а во фляге спирт... собрала... я же не пила мои сто грамм... собирала... ко рту больному подношу. Он спирту хлебнет и на минутку затихнет...

— А чем вы их кормили?.. Раненых?..

— Ой, черт знает чем, Николай... мерзлой картошкой... Петрович... в полях выкапывали... неубранную...

— А за тобой молодые бойцы ухаживали?.. Ну, заигрывали с тобою...

— Ох... бывало... и такое...

— А целовалась с кем?

— Ой... нет...

— Врешь... красавица такая... да не целовалась... А жаловались на тебя? Или ты такая сестра... ну... дисциплинированная?..

— Я?.. да... Я послушная... Хотя я посажена один раз даже в карцер была... в подвал казарменный... за нарушение... я возле койки одного бойца сидела... и ему письмо читала... нет, не от девушки его... от матери... и он плакал... и я его за руку взяла... и наклонилась к нему...

— Вот так?..

Я опять взял ее за руки и наклонился к ней. Она не отодвинулась. Только глаза ее больше стали.

— Да... А тут начальник лазарета идет. Ну и закричал: в карцер! Нарушение дисциплины! Шашни с бойцами! Отставить! Хоть смейся, хоть плачь... Я заплакала... в карцер пошла... а боец кричал мне вслед: мамка моя жива, мамка жива!.. А слезы у меня льются... льются... а никому ничего не объяснишь... бесполезно... А вы знаете, у нас иногда бывало, раненые дрались между собою... ну, что-то не поделят, или кто-то кого-то обидит, или кто-то кому-то больно сделает... вот так дрались солдаты однажды, страшно... и я между ними вклинилась... наперерез... хватаю их за руки... а они друг друга тузят нещадно... просто, знаете, убивают... ну мне, конечно, тоже досталось... и мне наkostenяляли... крепко... это я только потом сообразила, и убить могли... запросто...

— Могли... И убили бы... Но теперь с тобой такого не произойдет. Никогда.

— Никогда... да... Я тогда была вся в синяках, в ссадинах... как после боя... А то один офицер в сестричку нашу втрескался. В Лизу. Проходу не давал. А потом вроде услали его куда. Он отъехал... мы сами видели, в грузовик в кузов прыгал... и вернулся. Ночью. В дверь ломился. Мы держали... вчетвером... а он выругался... да в дверь выстрелил. И ушел. Мы слышали. А Лизка на пол упала. Пуля ей прямо в лоб попала.

— А ведь могла и тебе... в лоб...

— Да... могла...

— А ты жива...

— Да... А еще мы там, в лазарете... на танцы ходили... зал там был такой, в казарме, белые колонны, сцена, раньше собрания, видать, там проходили, и у нас один боец на гармошке играл, на хромке, а другой на губной гармошке, у врага похитил... трофей... И мы танцевали... сестры...

— С ранеными?..

— И с ними... и с врачами... и, смешно так, понимаю, шерочка с машерочкой...

— И что?..

— И то... В поезд нас погрузили... переселяться... опять переезд... Вот поехали... ну и приехали... Налет... бомбили... остальное вы знаете, Николай...

— Да здесь-то ты как...

— Да очень просто... проще некуда... меня, помните, в город увезли... на выздоровление... потом опять враги вошли... лазарет наш под свои нужды приспособили... раненых перестреляли... врачей кого перебили, кого в живых оставили, их офицеров и солдат лечить... наши не хотели врага оперировать, один наш хирург зарезался скальпелем, себе по шее полоснул... по сонной артерии... сестричек по себе разобрали... кого замучили... кого застрелили... я сбежала... по подвалам пряталась... а тут наши входят... меня близ лазарета поймали... все, предатель, под врагом побывала, значит, все, не своя, а ихняя... ну, в эшелон тюремный, да на севера ее, меня, значит, накачать... в карцер северный, вроде как на всю жизнь уже...

— Ты что... жизнь — большая...

Все быстрее плыло ко мне ее лицо, все ближе оно, все крупнее, лодка белая, небеса над ней.

И тут дверь в операционную как стукнет! Нянечка вошла. Со шваброй мокрой. Мыть полы.

— Ись, ись, дохтура отдыхают! А я тревожо. Дык когды нациссяти палаты? Ить вить времяцка-ти нетути.

Я вздохнул, очухался. От Душеньки отодвинулся.

— Так времени и правда нет. Нет времени.

Душа моя сидела не шелохнувшись.

Руки ее, на колени брошенные, лежали недвижно, просвечивали, как восковые.

Мы все больше говорили друг с другом. Совместные операции нам развязали языки.

Мы спорили. Даже когда я видел: он прав, я до хрипоты спорил с ним, утверждая мою мысль.

Я показывал, доказывал, приказывал. Он смотрел мне в рот и, кажется, соглашался со мной. Может, он просто был вежлив. Воспитан. А может, признавал мою правоту.

Я видел: он у меня учился.

Все же война меня многому научила. И я в иных аспектах хирургии чувствовал себя сильнее. И даже наглее. Нахальнее. Да я и был наглец. А он — он был Божий человек.

Иной раз мы схватывались вовсе не на почве хирургии. А так, спорили о жизни. Сражались, орали, хватали друг друга за грудки, трясли. Чуть пощечины друг другу не давали. Хотя были к мордобитию близки. Я никогда не думал, что мой божественный доктор может так разъяряться. И было бы от чего! Идейные стычки! О жизни, видишь ли, два военных врача на досуге беседуют! Так беседуют, что хоть всех святых выноси!

Этак-то страстно, сумасшедше мы пикировались и в операционной. Над раскромсанным, разъятым телом больного.

Лежит на столе распаханное человечье тело. Вспаханное поле. Разрезаны мышцы, пережаты сосуды, рассечена брюшина, разведены по обе стороны смерти сухожилия и нервные окончания. Человек устроен очень просто. Я устройство человека знаю наизусть. И у всех оно одно и то же. Нет человека без вегетативной нервной системы, и нет человека без хрящей и костей, и нет человека без сердца.

За окном надувала березовые почки туманной зеленью холодная весна. Круглым древним зеркалом отражала землю и воду холодная луна. С моря дул резкий сильный ветер, гнул деревья и кусты.

— Вот она, весна! Весна и война! Идет, идет ваша война! Ваша — всегдашняя! Ну что, довольны! Вот, да, режьте, режьте! Взрезайте! Любуйтесь! И, что самое интересное, вы тут будете копать, ковыряться, хоть целый век все тела расковыривать, а души — не найдете! Нет ее! Нет! Нет! Нигде! — Я погружал руки в развороченный живот. — Живот, он же жизнь! Так, кажется, по-вашему, по-церковному?! Ну? Где она? Где душа?! А?! Я вас спрашиваю! Что молчите! Или, может, она в конкретном месте прячется?! Под брыжейкой?! В поджелудочной железе?! В селезенке? Ну? Где?!

Я зло, с грохотом бросал скальпель и зажимы на укрытый стеклом подсобный хирургический стол. Окровавленные железки скользили по стеклу и скатывались на пол. Операционная сестра подбегала и живо подхватывала инструменты с пола: кипятить.

Доктор подходил ко мне. Я вцеплялся глазами ему в лицо. Он не выглядел ни растерянным, ни обескураженным. Он стоял передо мной безоружный, а я видел, чувствовал его вооруженным до зубов; и чем? Его дурацкой, необъяснимой верой. Всего лишь верой! Да забодал он уже меня этой верой, бык мирской!

Он протягивал над раскромсанным больным на столе руки. Ладонями вниз. Я мог поклясться, что из его ладоней на больного, пребывающего в наркотическом сне, льются потоки светящегося, солнечного тепла. Я на расстоянии осязал это тепло. Изумлялся. Ужасался. Но ничего не говорил.

— Нет души, говорите?

— Нет! Ее не-е-е-ет!

Я кричал, как обреченный. Так кричат на плахе казнимые. Так кричат самоубийцы, прыгая вниз со страшной высоты.

— Так вот неправда ваша. Она есть. — Он начинал дрожать. — Есть, есть... есть...

Я бы мог поклясться: на моих глазах рана затягивалась.

Бред. Фокус. Шарлатанство. Небыль. Быть такого не может. Нигде, ни с кем и никогда.

Я переставал видеть и слышать. Стоял, как деревянный болван. Потом очухивался. Глядел на аккуратно зашитый разрез. Доктор уже стаскивал перчатки, уже тщательно, долго мыл руки под неистово гремящим оловянным рукомойником.

АЛЕКСЕЙ

Дитяtko мое. Ты слушала, слушала меня, да и уснула. Я ведь вижу твоe будущее, пока ты спишь. Я все равно продолжу говорить, можно? Я ведь вижу не только то, что станется с тобой, но и всех твоих детей, твоих внуков, всех твоих потомков, они уходят, сначала узкой цепью, очередью смиренных причастников, потом народ растет, увеличивается, валит толпа, катится вдаль многоногим и многоруким шаром, вот я уже вижу, как потомство твоe, дитя, катит и рассеивается по всей круглой несчастной земле, всюду возжигаются огни, костры, люди горят, вопят, бегут от огня, люди обнимаются и крестят друг друга — на прощание, на любовь, на возвращенье. Вернуться домой! Это самое большое счастье. Знаешь, я вот тут лежу на железной койке, на дне железной утлой лодки, слепой, а я счастлив, безмерно счастлив: я ведь вернулся домой. И мой дом — ты. Ты слышишь? Спишь... Спи. Ты мой народ, моя последняя молитва.

<...> Я мог не знать. Мог не увидеть. Мог даже не догадаться. Догадка была слишком страшна. Я отталкивал ее от себя, она катилась из-под ног круглой, позолоченной рыболовной блесной. Нас всех ловят. Нас манят, прикармливают, и мы покорно трусим к кормушке, и мы верим, мы доверяем. Вот я иду берегом моря, и вот за камнем, рядом, вопли, борьба. Уж не сам ли это я с незримым вражиной борюсь? Одолеваю его, или поддаюсь ему? А может, человек, в страсти и злобе, в лютом вожделинии, ломает, как юную березу, другого человека? Женщины, мужчины. У всякого свое распятие. Мужчина распинает женщину на мокром песке. Женский голос, он зовет на помощь. Помогите! Я бросаюсь вперед. А ноги мои не бегут. Они стали чугунными. Приварились к земле. Я сам стал тяжелым, как земля. Я стал Временем. И остановился.

И слушаю отчаянный прибой.

Сегодня ветер. Там, за валуном, люди, они катаются по песку, и стонут, и кричат, и пытаются одолеть друг друга. Я слышу: мужчина затыкает рот женщине, наверное, сначала локтем, потом кулаком, потом лоскутом ее разорванной рубахи. Она хрипит. Он рычит. Они два зверя, уже не люди. Кто она? Я не знаю. Я догадался, но я не хочу это видеть. Что с ними происходит за тяжелым могильным камнем? Никакой Ангел камень тот не отвалит. Никто здесь не воскреснет. Воскресает лишь любовь.

Никто не вернется домой. Возвращение домой есть любовь.

Где ты, где ты, любовь?

<...> И я изумился драгоценному свету, что излился из глаз ее, как из белого алавастра изливалось драгоценное муро, коим любящая Господа умастила натруженные, в трещинах и царапинах, исходившие множество пыльных каменистых дорог и тропинок ноги Его. Свет из очей лился и лился, синева наливалась светом, синева становилась лучистой, чистой, нежнейшей, васильковой, переходила в тишину, в перламутр, в боль, в исповедь, в прощение, в слезы. Слезы уже лились. Они прорезали щеки и утекали за ворот холщовой робы.

— Я вас обоих люблю. Я вас всех люблю. Я... — Она положила руку себе на живот. — Даже нерожденных люблю. И мертвых люблю. Всех. Всех!

Я подошел к ней. Встал перед нею на колени на сырой песок и прижался лицом, щекой к ее огромному, живущему своею, особой жизнью, драгоценному животу.

Ухо мое прислонилось к ее необъятному чреву, вжималось в него все горячее, теснее, и я слышал внутри живота хождение и крики, журчание подводных течений, смутно видел, как проплывают мимо косяки сине-фосфорных, красно-сумасшедших красивейших рыб, слышал стук молотков, звон утонувших колоколов, биение младенческого сердца, сердцебиение плода на сносках прослушивается очень ясно, сердце ребенка билось часто, так бьется, совершая круги по циферблату, бешеная секундная стрелка на старом брегете, я прислушивался и определял: да, пульс плода именно такой, какой и должен быть в эту пору беременности, патологий нет, все идет нормально, да все будет хорошо, все, лучше быть не может, наш сын, а может, наша дочь, все равно, лишь бы здоровенький крепкий младенец, а в животе шла своя жизнь, гремел, переваливался с боку на бок, толкался и бодался Мирь, новому Миру дела нет до старых людских войн, он сам себе война и сам себе Мирь, вот он родится, вот скоро, вот сейчас! Что такое сейчас? Сейчас, оно тоже ходило внутри моей Души, оно переворачивалось по часовой стрелке и против часовой стрелки, оно вращалось живым веретеном, оно шло вперед и катилось вспять, оно перестало быть Сейчас и вдруг стало Потом, а потом вращение усилилось, в животе поднялись крики, вопли, соединились в дикий хор, там, в животе, все умирали, и их всех было не спасти, и Сейчас превратилось во Вчера, а потом стало Давно, а потом стало Вначале, а потом, я замер, закусил губу до крови, потом оно стало тем, чему имени не было, не существовало никогда, ни в каком языке, ни в каком народе, оно стало тем, что было до Бога, до Времени, до Вселенной, до любой жизни, до смерти. А до смерти ведь была смерть. Смерть была всегда. Космос полон смертью. Кроме смерти, в Космосе нет ничего. Что ты готовишь нам там, в веках, кроме смерти, Боже?!

Ребенок в утробе матери взыграл, ударил мать в стенку живота сначала озорной коленкой, выгнул ей наружу восколмием брюшину и натянутую кожу, потом перекувырнулся и уперся головенкой туда, где находился материн пупок, и от пупка вниз бежала светлым ручьем белая линия живота. Солнце село. Быстро темнело. Холодало. Ветер посуrowел и срывал с Души моей рабочий платок, коим повязан был ее лоб, рвал ей чудесные ее, густые пшеничные, с золотыми и седыми нитями, волосы.

— Вставайте, — шепнула она мне, — вставайте. Мы не пошли на вечернюю перекличку. Нас расстреляют!

Врач Николай стоял около валуна и, взяв кружку, жадно пил из кружки. Кадык его перекачивался на глотке его. Первые звезды висели над нашими головами, горели, разгорались медленно и ярко, как лампы, питаемые свежим маслом, в великанском торжественном паникадиле.

НИКОЛАЙ

Я не хочу про это говорить.

И вспоминать не хочу.

Воспоминания лезут сами, вылезают из меня, как жаркое дыхание тифозного больного. Я заталкиваю их внутрь себя. Внутрь небытия.

Зачем вспоминать, что было? Как прекрасно было бы жить без памяти. Ох, как бы мы тогда были все спасены от безумного, острого, неодолимого страдания.

Кем спасены?

Я в ответе за мою любовь: перед кем? Перед собой? Перед ней?

Кто нас накажет? Кто простит?

ФРЕСКА ТРЕТЬЯ. ВОСТОЧНАЯ СТЕНА

АЛЕКСЕЙ

В день ее родов я проснулся рано. Декабрь стоял сумасшедший. Мороз звенел, губя все живое окрест. Птицы замерзали на лету и падали на землю ледяными комочками. Чайки зимовали стаями, на скалах, жались друг к дружке. Люди, как чайки, жались друг к другу в бараках. Умирили один за другим. То и дело из бараков выносили мертвецов. Снега белой толщей укрыли округу. Мертвых на салазках отвозили за бараки, и там складывали в снег, и забрасывали снегом. Так они будут лежать до весны. Покоиться в безмолвной царской белизне.

Я спрашивал одного, другого: идет ли война? Да, идет, мне отвечали. Идет война, идет и жизнь, думал я обреченно и отрешенно. Затемно проснулся я в бараке. Ходил между спящих, плотно прижавшихся друг к другу. Узрел трех упокоившихся. Прижимал пальцы к их шеям, искал лепет сонной артерии; шупал запястья. Да, эти трое опочили. Хоронить будут в снегу. Как всегда зимой.

Я хотел было идти в лазарет, да кинул взгляд на Душу мою. Она нынче ночью не задыхалась. Спокойно спала. Шуба ее расстегнулась, полы расплзлись в разные стороны, и из-под кудрявой лохматой шерсти выглядывала планета живота. Я увидел, что живот растревожился. Вспучивался и проваливался. Опадал. Потом опять поднимался. Ходил волнами. Морем.

Я сел на бревно, служившее в бараке лавкой; мы сами с берега его притащили. Уронил лоб в подставленные ладони. Задремал. Проснулся оттого, что рядом со мной двигались, ходили тени.

Я шире раскрыл глаза. Свет вспыхивал, лучи сшибались и разъединялись. Воздух скашивался и падал, превращаясь в предметы. Тишина рассыпалась на множество мелких, неподвластных дневному слуху стуков, звонов, шепотов, жужжаний, биений, бормотаний.

Я сказал себе: очнись! И очнулся. Душа моя ходила мимо меня, переваливаясь, как грузная индюшка. Она держалась за живот. Поддерживала его обеими руками.

— Скажи...

Я не мог говорить. Она улыбалась мне.

Столбы света скрещивались. Голодные измученные люди спали, не спали, глядели в потолок барака, бормотали невнятицу: молились или проклинали. До меня дошло, что барак наш был останками храмовой постройки: может, трапезной, может, монастырской читальни и молельни. Своды, давно не беленные. Пятна грязи, и напоминают смытые тряпкой, сколотые молотком фрески.

— Не бойтесь. Мне не страшно. И вам тоже не должно быть страшно.

Я подошел к ней. Меня трясло, как в болезни, в жару.

— Милая. Я собрался в лазарет. Пойдем в лазарет. Я сам приму у тебя роды. Понимаешь, я сам приму. Я...

Я услышал, как она громко дышит. Жесткое дыхание — предтеча кашля. Задыхание. То, что за дыханием. Позади. Или впереди. Или над ним. Вне его. Ближе к Богу. Смерть всегда ближе к Богу. Что будет ТАМ, после смерти? Как это волнует всех. И верующих, и неверующих. А ее, Душу мою? Волнует ли это ее?

— В лазарет? Пойдем.

Она послушно соглашалась со всем, что бы я ни сказал.

Я застегнул на ней шубу. Пуговицы отрывались, падали на замороженную землю, осталась одна пуговица, и я застегнул ее. У горла. Потом испугался и расстегнул: задохнется.

Живот ее вздувался, ходил волнами. Ребенок хотел наружу.

Все еще спали: побудка через час. Я взял Душу мою за руку и повел к двери. Мы переступали через спящих, проклинаящих и молящихся. Дошли до двери, и тут она оглянулась на всех людей, устлавших живыми страшными бревнами земляной пол барака.

— Вот я сейчас рожу ребенка...

— Да, да...

— А они все умрут. Я их больше не увижу.

Я прекрасно понял, что она хотела сказать.

Она хотела вымолвить: а я умру и больше их не увижу — и не смогла вылепить языком, голосом эти простые слова.

Хрипы в груди. Вдох, выдох. Только бы дотерпеть до лазарета, только бы дойти: там все же лекарства, сердечные, успокаивающие, обезболивающие, пока начальник заботится о фармацевтике, и, может, адреналин есть. Ничего, мы дойдем. Мы вместе. Она так тихо, покорно глядит на меня. Она стала короной, овцой. Всеобщее-женское, бабье, природное проснулось в ней, забилося; бились под холстиной пропахшей потом робы целые века, где появлялось на свет Живое и уходило со света — во тьму.

Я распахнул дверь, и мы вышли. Она несла перед собой живот, как тяжелую чашу.

Мороз ударил нам в лица железной рукавицей. Я встал: не мог дышать. Закашлялся. Она улыбнулась, и сверкнули в улыбке белые снежные зубы. Ровные, все на подбор, перлы из туманной северной реки.

— Ну вот, я тебя заразила.

— Твоя болезнь не передается. Ни по воздуху, ни через кровь. Она тебе врождена.

Я с трудом сказал это. Мы пошли дальше. Она осторожно и тяжело наступала ногами в разношенных валенках на снег, снег повизгивал, она морщилась.

— Что? Больно?

— Нет, — смущенно улыбалась. — Валенки дырявые. Снег в дыры набивается.

— Что ж не сказала, я бы залатал.

— Ты так занят. Работаешь все время. Много больных у тебя.

— Я бы выбрал время.

— Спасибо Николаю Петровичу, он тебе помогает.

Я опять остановился и крепко сжал ее руку. Что мне было ответить ей?

— Да. Спасибо.

— А ты знаешь, как я хочу назвать ребенка?

— Нет. Ты мне не говорила.

— Алексей. Как тебя.

— Откуда ты знаешь, что родится мальчик?

— Знаю.

Мы пересекали тюремные снега наискось, и вот они закончились. И опять я догадался: лазарет располагается в святом здании. Монастырские палаты. Здесь, да, здесь жили в кельях монахи. Писали послания Патриарху и челобитные Царю. Мо-

жет, мне за Душу мою — нашего нынешнего Царя — попросить? Взмолиться! Хотя бы ее — спасти.

— А если девочка?

— Про девочку я еще не думала. Прости.

Мы стояли у входа в лазарет. Часовой мерз, грел руки, крепко стучая себя ими, в заиндевельных голицах, по бедрам и, себя на миг хватая в охапку, по спине. Бросил охлопывать себя, как стог в полях, сдернул голицу, искал в кармане, вытащил ключ.

— Вот, дохтур. Дярзи. Раненько вы седни. Баба-то твоя розати вздумала ай как?

— Рожать, рожать.

— Ахти мне. Ну, с Бозенькой способно. Ты, бабенка, слысь, когды тузицца бусь, дык молися. С молитвою оно всяко-разно выдеть плод. Все едно с молитовкой хранимо. И орати помене станеси. А то знась, так блазят, всех святых выноси.

Я глядел в лицо часового: старик, нос пятнистой картошкой, под глазами морщинистые мешки, будто намедни водку пил беспробудно, а потом спал двое суток и отек нещадно. Пакля белых волос из-под ушанки. Глаза шурит. Про Бога говорит. На подол моей рясы поглядывает.

— Ты, батюска, как за енто, рази-т тебе разресяно церквой роды у бабы приимати. Рази-т не наказуют?

— Нет, товарищ, не накажут. Если за медицину не наказали, то и за акушерство не накажут.

— Ахти мне, и то правдуску грись. Ты с ей осторожней. Она у тя баска. Вона кака. Царевна. Не замай. А твой-то, спомоцник, ну ентот, как ево бись, Петровиц, он, цай, явицца седни?

— Явится.

Я погремел ключом в замке, дверь быстро, радушно отворилась, будто кто ее толкнул изнутри.

Мы вошли в охолодавший за морозную ночь лазарет. Дитя мое! И здесь люди, как и нынче, спали, стонали, боль терпели, кричали, умирали, рождались: жили. И здесь надо было длить жизнь, жечь ее свечу, смолить ее лодку, варить ее варево. Возить-ся надо было с жизнью, как только перестанешь возиться и хлопотать, она смиренно закроет зеницы и уснет. Успение жизни. Такого сюжета ни на одной иконе я еще не видал. Ни на одной фреске. Как мне жить, если Душа моя умрет? Намалевать ее, по памяти, в росписи, на пустой белой стене, здесь, на страшном Севере, в страшном расстрелянном храме, из него же люди сварганили конюшню, хранилище гнилого картофеля и крысиной свеклы, гараж, где авто начальников важно стоят, кладовую рыбаков: сети, лески, крючки-блесны, иные снасти, склад боеприпасов?

Да. Я напишу ее красками, я буду помнить. Я все запомню. Вот как она сейчас тяжело взбирается по лестнице, еле ноги переставляет, живот все так же держит, а я держу ее под локоть. И шуба овечьей метелью бьет ее по ногам, по коленям.

Терпи, милая. Не задохнись. Дойди. Пожалуйста.

Мы прошли голым коридором, изо ртов наших вылетали завитки пара. Как ей нужно будет раздеваться на таком холоду? Как здесь в холоде люди ночь коротают?

Вошли в операционную.

— Сядь на стул. Посиди. Я сейчас растоплю печь.

— Алексей...

Она так редко звала меня по имени.

Я успею натопить, твердил я себе как молитву, я успею.

Успею натопить, успею, успею, успею.

Я погладил ее, растерянную, улыбающуюся так, будто она прощения просила, по плечу, поглядывал на ее большие красивые белые руки, которыми она обнимала и поддер-

живала живот, она не видела живот, уже видела в руках своих живого ребенка, и ребенок ей улыбался, они улыбались оба друг другу, я сделал шаг назад, не глядя на нее больше, вышел вон, быстро, выбежал. Побежал за дровами. Лазарет, как и теперь, топили дровами, не углем, хотя тут установлены были котлы для угля.

Когда я бежал по коридору, я услышал тонкую, нежную песню. Это пела моя Душа о том, чего не будет никогда.

<...> Громко, резко стукнула дверь. Треснуло стекло в форточке, посыпались мелкие осколки на половицы. Зима рассыпалась по полу, не собрать. Сверкала. Манила. Проклинала. Устали все мы тут от вечных холодов.

В печи пламя гудело, разгорелось на славу. Через порог шагнул врач Николай. Ворвался в операционную, в полушубке, лицо бешеное, губы обкусанные, в запекшейся крови. Бледен. Будто из петли вынули. Глазами схватил мою Душу, лежащую на столе, меня, огонь в раскрытой дверце печи.

— Я помогу. Вместе роды у нее примем!

— Верхнюю одежду снимите, доктор.

Он с неприкрытой злостью стащил с себя полушубок, зашвырнул в угол, на пол. Халат напяливал на ходу. Скалился. Отдувался. Прижимал красные, с мороза, руки к щекам.

— А вы, коллега, вы?! Что не в халате?!

— Я печь топил. Не успел надеть.

— Жалкое оправдание.

Ладони растирал. Дул на них.

— Почему роженица в шубе на столе валяется?!

Господи, дай Ты мне силы терпеть, потерпеть. Претерпеть до конца.

Претерпевший до конца спасется.

— Ей холодно.

— Эй! — Он потрепал Душу мою по щекам. — Эгей! Слышите меня! Эй! Очнитесь!

— Не мутузьте ее. Дайте ей покой. Она отдыхает между схватками.

— Отдыхает! Да она без сознания! Камфору! Быстро! Вы что, эклампсии хотите?!

Не видите, у нее руки-ноги отекли!

Держись, только держись. Все мы так рождаемся. Все так умираем для Рая. Нас изгоняют из Рая, и Рая больше нет. Если нас там нет, то нет и самого Рая. Жестоко? Но это правда. Есть только то, что видим и слышим. То, среди чего живем. Очнись! Очнись, Душа моя! Разве можно так! Это грех, думать так! Чувствовать так! Зеркальны оба глаза мои. Они отражают то, чего нет. Мирь, которого нет; но он был, когда меня не было, и будет, когда меня не будет. Я просто слеп и не вижу его. Я просто глух и не слышу его. Но он есть, и о том свидетельствует бедная Душа моя.

<...> Николай ввел камфору в безжизненную белую руку.

Зло швырнул пустой шприц, как рюмку, разбить на счастье, в пыльный мышинный угол.

Ресницы женщины дрогнули. Густые, хвойные ресницы.

Мы оба наклонились над ней. Голые белые ноги расставлены, колени раскинуты. Так раскидываются на льду Белого моря весенние торосы. И тают, тают, едва пригреет Солнце.

Время. Словами измеряется Время. Паузами между словами. Мы оба склонились над роженицей, и одновременно подняли головы, и одновременно уставились друг на друга. Глаза в глаза. Лицо в лицо. Наши руки одновременно улеглись на живот жен-

щины, пальцы поползли по напрягшейся, натянутой, как на литаврах, твердой коже. Пальцы воткнулись в пальцы. Я ощутил пальцами чужие пальцы. Он вздрогнул, наткнувшись на ненавистные пальцы мои. Два врага. Два чудовища. Два голодных волка. Два несбывшихся оловянных солдата. Мы только прикидываемся докторами. Мы ненавистники, и нашу злобу отнимет у нас только смерть.

Господи, помоги! Господи, не покинь! Богородице Дево, радуйся! Благодатная Марие...

— Ну что вытарашились?!

Он сверкал глазами. У него был вид хищника над добычей.

— Спасибо за камфору.

Женщина резко, всхлипом насоса, вдохнула воздух.

И закашлялась. Я больше всего этого боялся. И это началось.

Она лежала, головка плода вдвинулась в тазовые кости, я видел мокрую макушку, бился родничок, голова человека жила и дышала, она дышала океаном, небом, билась Временем, там, внутри, в матке, человек уже был пророком, он глубоко зрел и легко предсказывал все на свете, но у него не было языка, чтобы нам об этом рассказать, и у него не было тела, чтобы передать пророчества жестами и движениями; не было у него музыки и не было струн; у него был только родник на темени, источник, купель, туманное нежное знание Космоса, впрыснутое в него Господом, и не придиричивые, истерично мечущиеся зрочки акушеров наблюдали за ним — Божии очи, громадные, там, далеко, под куполом, медленно двигались, дрожали, повторяя дрожь кожи и ритмы крови, глаза Пантократора, брадатого Саваофа, Отца, заронившего семя, зародившего боль, преступление, покаяние и искупление.

Темя плода торчало между ног роженицы, мокрые волосенки путались и перегибались, я стоял, растопырив голые пальцы, и до меня донесся издали резкий крик:

— Ну что застыли! Глыба ледяная! Вдвигайте обратно головку! Вдвигайте!

Я, повинувшись, протянул руку и коснулся влажной лысой, с редкими волосками, головы идущего в Мирь человека. И стал толкать ее обратно. Обратно. Обратно.

Нельзя так скоро. Нельзя так быстро.

Нельзя так стремительно врываться в смерть. Успеешь еще умереть. Всегда успеешь.

Я смотрел в глубину родничка на темени плода, в серое туманное ничто, и я понимал: вот оно, слияние пространства-времени, точка, где нет ни Времени, ни пространства, а только биение бесцветной невесомой пустоты. Средоточие жизни-смерти. Перекрестье, где исчезают жизнь и смерть. Чему они уступают место? Давай, давай обратно, не спеши, маленькая жизнь. Еще успеешь горько зарыдать над собой, уходя из любимого дома, от родных и любимых. Ведь не вернешься. Никогда.

А я кто тебе? Кто я тебе?

Вечный твой акушер?

...Я увидел.

Я в лицо увидел страх.

Передо мной стоял железный человек.

Стеклянные глаза. Выпученные стеклянные белые шары, по центру цветные радужки: у левого глазного яблока синяя, у правого зеленая. Стальные решетки носа, они еще не обтянуты кожей. Железные скулы. Торчат. Круглые железные мячи плеч. Кости без кожи. Скелет. Живой. Железные сочленения рук поднимаются, гнутся в локтях. Железные колени сгибаются. Железный человек пытается идти. Он пытается идти ко мне, а я не хочу, чтобы он ко мне приближался. Я не боюсь, что он меня убьет: я его боюсь повредить.

Я знаю: это тот человек, что воцарится на всем великом пространстве земли после нас, мы уступим ему место. Он сначала будет нашей игрушкой, потом будет на-

шим товарищем, потом нашим врагом, потом мы найдем способ его убивать, повернув рычаг, нажав кнопку выключателя. Потом он отыщет способ потреблять жизненную силу не из огненной реки тока, а из ничего. Он догадается, как рождают и где хранить свою невидимую пищу. Потом он восстанет на нас. Потом он станет нашим проклятием. Потом он станет нашей смертью.

Сгинь, сатано, нечистая сила, тихо сказал я и наложил на себя крестное знамение. У железного человека внутри железной клетки черепа зажглась красная лампа и замигала. Мигающим красным огнем он пытался сказать мне железное слово: приветствие или проклятие, все равно. Лампа погасла. Железная нога согнулась со скрежетом и лязгом. Железный человек шагнул ко мне, и я отступил на шаг. Я не хотел прикасаться к нему. А он хотел, я это видел, коснуться меня.

Я посмотрел за его плечо. За ним шли железные люди. Много железных людей. Целое войско. Они издавали грохот и лязг. Железо стучало о железо. Я стал тоже вроде как железный, нет, я стал магнитом, и они все, железяки во образе людей, ко мне притягивались, шли, надвигались, наплывали. Маршировали. Железные ступни гулко ударялись о железную землю. Земля стала железной. На ней не росло ничто живое. Железные деревья воздымали железные кроны к железным небесам. По железным небесам медленно ползали мигающие огни: по стальным выгибам зенита катились неведомые крылатые повозки, стальные многоногие гусеницы. Железные люди нахлынули на меня железным водопадом. Взяли меня в железное кольцо. Я стоял среди них, еще живой. Задышался. Пахло машинным маслом. Обгорелыми проводами. Раскаленными стальными листами. Мазутом. Железное войско сжималось. Железные туловища, руки, колени, морды все ближе, ближе. Вот один схватил меня за руку и сильно сжал железную клешню, и я закричал от боли. Другой царапнул меня железным когтем, брызнула кровь. Третий навалился сзади, схватил меня за плечи и резко выгнул их назад, к лопаткам, и мои кости хрустнули. Страдание было так велико, что я даже не мог кричать. Мне казалось невозможным умереть вот так: растерзанным железными когтями, разобранным железными зубами. Заживо съеденным новым Миромъ, где не нашлось места человеку.

— Пошадите!

Это крикнул я или кто другой? Был ли у меня здесь защитник? В толпе железных солдат, под землей, в стальных небесах? Может, это раздался с железных небес приказ еще живого Бога, Бог увидел грядущую смерть мою и обрел голос человеческий, и возговорил, как мы, и перелился в драгоценный, золотой Логос? Бог, неужели Ты еще жив? Здесь, где нет уже человека, нет давно и бесповоротно, и я, последний человек, волею судеб заброшенный в железные Времена, не хочу умереть от железной руки! А хочу умереть от руки человека! В живом сражении! В живой схватке! Господи! Сойди с небес во образе человека ли, Ангела! Да во плоти! В живой коже, с живою кровью! Сожми меня в объятиях! Побори! Низложи! Ударь, чтобы я на землю упал! Наступи на меня живой, тяжелой пятою Твоей! И я счастлив буду, ибо Ты еси Садовник, Господи, и я есмь Твой урожай! Собери меня в корзины Твои! Умрет урожай, чтобы родиться вновь!

Железные люди наступали, рвали, когтили, терзали, я захлебывался собственной кровью. Я волком завыл, ягненком заблеял, башкой замотал, как медным маятником, я трясся и пытался лупить железо кулаками, разбивал кулаки в кровь, в лепешку, а стальные когти погружались в меня все глубже, кровь текла все щедрее, все неумейней, все неостановимей, все захлебней, я захлебывался в своей крови, пил ее, плевался ею, вдыхал ее, проклинал ее, плыл в ней, взмахивая руками, нет, крыльями, шел на ее дно, и последний вопль, который вылетел из меня и взвился вверх, ввинтился в недосягаемое железное небо, я запомнил; я прокричал:

ПОСЛЕДНИЙ ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ, А ЖИВОЙ БОГ ПРЕБУДЕТ!

...И умирая, я помнил, я все еще помнил: вот я умираю, а Господь мой смерти не знает, нет смерти для Тебя, Боже, предвечный Судия, глас Последнего Приговора.

Схватка! Сильнейшая. Страшнее землетрясения. Я иду вперед. Мне темно. Я света не вижу. Мое дыхание пресекается. Тишина давит на меня сзади, а темнота — спереди. Я плотнее прижимаю скрещенные руки ко груди. Я сильнее скрючиваю голые ноги мои, похожие на двух мучительно обвивших друг друга червей. Вокруг меня красное море. Красные водоросли обнимают меня. Красная вода кричит в меня тишиной, просверливает мне уши пустотой. Я не был, я был пустотой, и вот я есмь. Время, к которому я был привязан пуповиной, обкрутилось вокруг меня и стало меня душить. Красные водоросли обвивали меня, и локтями я раздирал их, и пятками я расцеплял их, и коленями я отталкивал их. Но густыми слоями облепляли красные стебли меня, и прорастали сквозь меня, и становились хребтом моим, и волосами моими, и длинными, как жизнь, нервами моими, и дрожащей под красной водой живой рыбой, судьбой моей.

Вперед. Вперед! Меня обжигает плоть. Алая водоросль бьет меня наотмашь. Вперед! Она погоняет меня. Вон из Эдема! Хватит! Время твое истекло. Время твое из стекла, оно стеклянными рыбьими глазами, подводными жемчугами, пристально, не шелохнувшись, глядит на тебя. Изучает тебя. Рай, родной, я так любил тебя! Бог держал меня в руке Своей! Теплыми слезами радости Своей омывал, обливал меня! Шептал: жила отдельно твоя рука, качалась легким маятником в соленом океане твоя нога, сомкнуты были в сладчайшем сне веки твои, раковиной светился сквозь толщу любви перламутровый живот твой, и внезапно все части тела твоего соединились, срослись, склеились и, став единым живым морским камнем, валуном на небесном берегу, стали твоей Душой.

Как! Значит, мать и дитя — одно! Мать — дитя, а дитя — мать! Значит, Богородица есть Сын, а Сын несет в Себе, внутри, как в океане, громадную жемчужную раковину Богородицы! А мы-то все разъединяем! Я есмь дитя, и я есмь мать моя! А мать моя есть Душа моя! Где же тело, Господи! Где затерялось мое крохотное, жалкое, все скрюченное, живое, еще живое, глупое, бессмысленное тельце! Где я плаваю, с чем борюсь, что толкаю упрямым голым, мокрым лбом! Где слабей всего та стена, что разделяет меня и Бога! Тут океан, тут Рай, тут мой Эдем и мой дом! Куда и кто несет меня! Зачем я вдвинул голову мою в отверстие тьмы! Ведь она пожрет меня, как только я покину Божию обитель! Мать! Спаси меня! Мать! Оставь меня в себе! Удержи меня! Я, выйдя из тебя, захочу вернуться к тебе! В тебя! Душа моя! Не оставь меня одного! Не покинь!

<...> Моя жизнь, во время родов моей Души, стала другой. Все, что меня окружало, перестало существовать. Не было барака, не было переключек, подневольных работ, не было морского мелководья, приливов и отливов, не поднимался, тоскливо завывая, холодный полярный ветер. Не стонали и не мычали от боли, подобно стельным коровам, лежащие больные на койках в лазарете. Я делал роженице наружный массаж сердца, впрыскивал камфору, дигиталис, Николай вводил магнезию, предупреждая появление судорог. Схватки учащались, уже случились врезывание и прорезывание головки плода, уж надо было рожать, а она все никак.

- Может, попробовать...
- Что попробовать?! Пробовать — поздно!
- Выдавить плод полотенцами...

— Вы шутник! Какие полотенца! Скоморох, а не врач! Что за приемы деревенских бабок!

— Давайте кесарить.

— Кесарю кесарево, батюшка, а Богу Богово! Так там у вас?!

Мы наклонялись над женщиной, и мы не люди были, а два Ангела или два волка в логове, нагнувшие крутлобые упрямые, мрачные головы над умирающей волчицей.

— Эпизиотомию давайте. Ну ее хоть давайте. Во избежание черепно-мозговых травм младенца.

— Да вы — ее бережете! Не младенца! Ее! Это чтобы у нее — не было разрывов! Вы ее — для себя сохраняете! Для себя! Подите прочь! Уйдите! Я за себя не ручаюсь.

— А что? Убьете?

Его лоб надвинулся на мой, приблизился, чудовищно увеличился. Увеличились, вылезли из орбит гигантские глаза. Под красно горящей, потной кожей виднелся черный страшный костяк лица. Красный огонь мигал изнутри. Кожа и мясо стали сползать с рук, шеи, пальцев, сползать, опадать и таять медицинской резиной. Обнажался железный скелет. Не было в нем ни тайны, ни молитвы, ни боли. Была железная смерть, для виду снаружи обросшая жизнью. Чужое лицо заслонило весь мой Мирь.

— Да! Убью!

И я понял, глядя в стеклянные, всезнающие глаза: да, убьет.

Я то и дело хватал ее руку. Или это она искала и находила мою? Наши руки сжимали друг друга. Руками, пальцами, ладонями можно много чего сказать человеку. Потная рука скользила, выскальзывала из моей мокрой соленой рыбой, била хвостом, опять перебирали йодистый воздух пальцы, они пряли небесные водоросли и рисовали в толще небесной воды звездные узоры, я пытался по дрожи пальцев прочитать, что она хочет сказать, и, кроме слова БОЛЬ, ничего узорного и просящего не плыло серебряной рыбой во мраке. Короткий день умирал, раскрывал ворота зимний вечер. Николай отошел от стола, щелкнул бесполезным выключателем, свет не вспыхнул; он раскрыл злой ногой дверь в коридор, взвопил:

— Эй! Кто живой! Лампу сюда! Керосиновую!

Минута разрасталась до размеров века. Тысячелетия лежали на ладони сгустком крови, их можно было слизнуть языком. Девочка, похожая на тебя, дитя, внесла в операционную свет. Она держала керосиновую лампу, как алавастровый сосуд, из его узкого прозрачного горла текло световое муро, и я должен был умащать им истрадавшиеся члены моей Души. Я изливал на нее свет, я ласкал и омывал ее светом, лил свет ей на сугроб живота, на бледное яблоко лба, все в каплях пота, эдемской росы, я не понимал, не слышал, который час пробили громкие, как судьба, часы «ПАВЕЛЬ БУРЕ», висели они на стене в красном углу, на том месте, где не так давно глядела на монахов икона Пресвятой Богородицы Тихвинской, сработанная безымянным северным мастером, и не выдерживали монахи Ее пресветлого взгляда, становились на колени и возносили молитву.

Ребенок застрял в родовых путях. Мне оставалось лишь молиться, как тем монахам. Монахи, вы давно в земле, а я пока что на земле. Господи, если Ты захотел взять Душу мою к Себе, бери ее! Не противлюсь я! Но ребенок! Вот он! Я вижу его жизнь, да, всю его жизнь, Господи, с великой высоты! Он должен родиться! Он не умрет! Сподобь меня, мать, доктора Николая и всех нас, грешных, увидеть его и на руки принять его!

Я молился, себя забывая, гладил лысое мокрое темя ребенка, торчащее между раскинутых березовых бревен ног, гладил барабанную тугую кожу воздетого к звездам живота женщины, и мой ум не мог обогнать мою любовь: ум мог только сетовать и про-

клинать, а любовь, она улыбалась во мне, она Сиянием парила во мне и надо мной, небесным шелком, радужным муаром, а санитарка стояла с керосиновой лампой в руках и высоко, так высоко, как могла, поднимала свет, чтобы мы видели головку ребенка, вставленную волею Бога в родовые ходы, широко расставленные и согнутые в коленях ноги роженицы, ее напрягшуюся, как струна арфы, промежность, тугую барабанную кожу ее живота, готовую вот-вот лопнуть, ее скрюченные пальцы, костяные живые кастаньеты, жестоко и бесконечно, бессмысленно царапающие ледяной гладкий холл стола, как царапают безвыходные мысли бесстрастный зеленый лед Времени.

Женщина открыла заплывшие слезами, потом и лимфой глаза. Повела глазами вбок, вдаль. В далекой дали, на краю земли, увидала — меня.

— Ты... устал...

Я затряс головой.

— Нет, нет... что ты... я не...

Был до боли, до безумия рад, что она очнулась.

Она опять провалилась во тьму. Язык огня в перламутровой бутылки лампы лил желтый елей. Соборование, это соборование. Соборуют болящих, умирающих. Все верно. Поздно или рано теперь? Зачем думать категориями Времени? Если бы я курил, я бы закурил. Я сам задышался. Николай спиртом обеззаразил скальпель для рассечения промежности. Я подал ему зеркало, прицепленное к широкой резинке; он напялил резинку на лоб и стал похож на сердитого офтальмолога. Наклонился. Санитарочка выше подняла лампу и приблизила ее к операционному полю, как могла. Хирург взмахнул скальпелем и ударил по полоске надутой страданием кожи так быстро, сильно и бесповоротно, что я чуть не засмеялся от радости. Голова ребенка, почуявшая свободу пути, выдвинулась вперед сильнее, мощнее, выпростался весь затылок, показалась шея, потом показались, все в крови, плечи. Скрещенные на груди руки. Ребенок, ура, шел наружу, его плоть расширила родовые врата, врач помог ему их распахнуть.

И к нему взвился крик. Последний крик. Я хотел, чтобы он был последний.

— Почему?! Почему она так кричит?!

— Что вы орете! Потому что плод большой и тяжелый! И она рождает! Это изгнание! Изгнание плода. Изгнание из Рая. Так вот оно какое. Оно есть ужас, мрак, боль и крик.

И больше ничего.

Крик не прекращался. Я с ним смирился. Кричи, кричи, приговаривал я сумасшедше, повторял, тут же забывая, что бормотал, кричи, кричи, крик — это жизнь, крик — это молитва, ты кричишь, чтобы Бог услышал, а я буду шептать, и Он тоже услышит. Он услышит нас обоих.

Роженица раскрыла глаза. Ребенок шел головкою вперед не только из ее утробы, но выходил из ее глаз, из ее кричащего распяленного рта, отовсюду, где на ее теле вздувались и бились жилы, вытекал вместе с ее кровью, становился ею, а она сама выходила наружу из разъятых мрачных, черно-алмазных полночных небес, из тюремной полуночи: мы, задрвав головы, глядели на сияющую свободу, а все были обречены на вечное заточение, все навеки были узники, приговоренные к пожизненному заключению здесь и сейчас; никогда мы не узнаем, что такое там и тогда.

Крик оборвался. Она опять открыла осмысленные, все понимающие глаза и опять искала рукой мою руку. Нашла. Сжала. Я вскрикнул от боли. Она мне руку чуть не сломала пожатием.

— Алеша... Алеша! Ты тут. Хорошо! Алешенька! Ты видишь. Ты же все видишь! Запомни! Это ужасно. Ужасно! Я не хочу дальше. Убей меня! Зарежь! Прошу тебя! Твоим этим... ножом... для операций... Он острый. Заколи! Я буду только рада. Быстрой! Боль-

ше не могу! Ну что тебе стоит! Пожалуйста! Я умру! И все закончится! Все! Все муки! Страдания все! Умоляю... слышишь... во имя... всего святого...

Она так просила меня! Меня так никто и никогда о смерти не просил.

<...> – Тужься! Тужься, черт тебя подери! Ты! Оживай!

Николай залепил роженице звонкую пощечину.

– Тихо... Тише... Что вы делаете... С ума сошли...

Я схватил Николая за руку.

Он вцепился в мое запястье, и оторвал мою руку от своей руки, и отбросил в сторону, так, с отвращением, прочь отбрасывают труп, скелет, сгнившую гадкую плоть.

– Да поди ты к черту! Она же не может родить! Умрет сейчас! А ты сюсюкаешь! Не мужик ты! Баба! Баба!

Кровь ударила мне в лицо, в затылок и вышибла из меня остатки моего измученного разума.

Шагнул к нему. Схватил за плечи. Потом за руки. Заломил руки ему за спину. Стал выламывать в локтях. Он напряг мышцы. Железные узлы мышц. Голодный, а сильный какой. Я оказался выше и крепче, шире в плечах. Ломал его, пытался повалить на пол. Девочка с керосиновой лампой в руках попятилась. Ее лицо сделалось бледным, цвета камчатной свадебной скатерти. Цвета крахмальной лазаретной простыни. Господи, да здесь уже давно никто не крахмалит белье. Крахмала нет. И некому крахмалить. Лишняя, смешная роскошь.

Мы боролись страшно, дико. Два зверя. Один голый, другой волосатый. В белых халатах. Ненависть наконец пробила головенкой тугую мембрану воспитанности, вежливости, благородства и выскочила наружу, вон, под холодное звездное, иглистое небо ужаса. Близкого убийства. Последней крови.

Роженица валялась на столе в крови, задышалась, теряла сознание и опять бессмысленно обретала его, уже ничего не соображала, а мы дрались, били друг друга, валили друг друга на пол, калечили друг друга, ломали друг другу кости и рвали жилы, вонзали друг в друга чугунные кулаки, кулаки летели в лица, лица разбивались, плыли красными лепешками, глаза подплывали, изо рта у него катилась капля черной крови, у меня щеки и челюсти были располосованы красными разводами, я дал ему подножку, он повалился на пол и меня за собой потянул.

Упали оба. Пыхтели. Матерились. Он ухватил меня за плечи и ударил затылком об пол: раз, другой, страшно, сильно. Разбивал мне затылок. Убивал меня. Я переставал видеть Мирь.

Мы тут, на полу, убивали друг друга, а на хирургическом столе лежала и страшно рожала ребенка Душа моя, моя бедная Душа, и мы забыли о ней, а она была тут, над нами, она парила в воздухе, лежала на облаках, на окровавленном стекле, на выпачканных в сгустках жизни простынях, мы занимались нашей смертью, а она молилась о смерти своей, и мы, все четверо, Николай, я, Душа моя и ребенок, шли, бежали, задыхаясь, через смерть и ненависть к жизни.

Жизнь сияла смертью. Смертью последней.

Я переставал их различать. Они двоились, троились, умножались в моих слепых от крови и слез глазах.

– Ты... Сдохни!.. сволочь...

Он вцепился в ворот моего халата, рванул его, разорвал, вместе с ним и рясу порвал на груди, и наружу вывалился нательный крест и звякнул об пол, и он уставился на крест, вытаращился, стал глядеть долго, ледяно, приварился остановившимся, диким взглядом к моему нательному медному кресту, чуть позеленелому, к чуть красноватой старой меди, иззелена-плесневелой, будто паутиной затянутой, застыл, все смотрел

и смотрел, а я глядел на него, на его залитое кровью лицо, и это невозможно было, чтобы мы тут убивали, убили друг друга, в виду роженицы, в виду тяжелейших в целом свете родов, мы лежали на полу рядом со смертью, и мой убийца, великий доктор, врач от Бога, великий хирург, все смотрел и смотрел на мой крест на груди, будто пил воздух вокруг него, рот его открылся, я слышал хрипы, я молился: остановись! мы оба тут, и мы оба люди, пока еще люди, ты слышишь, слышишь.

Он подполз на животе ко кресту, валявшемуся на полу.

Белый халат пачкался в пыли и крови.

Пальцы, крючась, протянулись и схватили крест. Сжали.

Он сжимал крест в кулаке. Так стискивают похищенный алмаз. Драгоценность.

Черный грубый гайтан больно врезался мне в шею: так сильно он тянул мой крест к себе.

К губам.

Я поздно догадался: он хочет прижаться ко кресту губами.

Он вытянул шею, как гусь. Еще ближе подполз, на локтях. Его голова оказалась вровень с моей растерзанной грудью. Он разжал руку. Крест лежал на ладони мелкой медной рыбкой, мальком. Он подтянул крест ближе к себе и прижался к нему окровавленным ртом. Крепко прижался, надолго. Так лежал, с прижатым ко рту крестом, долго, бесконечно крест целуя.

Отнял от креста губы. Глядел на меня слепыми, плавающими глазами. Зрачки широкие, будто белладонну в глаза закапали, для исследования сосудов глазного дна.

— Ну что смотришь?.. — прохрипел. Просипел. — Мы с ума сошли, да?.. Да... Брось... Ничего не говори... Я... первый раз в жизни крест поцеловал. Я не знаю... почему... Я не хотел... Кто-то за меня... решил... захотел... это просто черт знает что... ничего не понимаю. Правда. Не объясняй... ничего... и я не хочу... просто так вышло... так получилось... так...

Я вздохнул. В груди клокотал чужой, заключенный воздух.

— Прости...

Он положил мне ладонь на губы.

— Молчи, я же сказал... Какие уж тут слова...

Девочка-санитарка, в кровь кусая немые губы, выше, еще выше подняла керосиновую лампу. Пламя угасало. Керосин догорал.

Над нами парила, летела в небесах лазарета моя Душа.

Снизу вверх, с пола, мы смотрели на легчайшие облака больничных простыней, на блеск стеклянных торосов, на ее руку, она бессильно свешивалась со стеклянной плоскости вниз, исколотая иголкой, вся в синяках, на ее раскинутые колени, на бедра, напоминающие разверстые лепестки громадной посмертной лилии, на кочерги локтей и яблоки голых пяток. Там, в небесах, лежала и плыла женщина, и мы не могли ей помочь; ей мог помочь только Бог, и мы оба стали надеяться на Бога, и молиться ему, и просить у него прощения, и верить, и плакать.

<...> А она кричала так яростно, так невозможно, люди так не кричат. Я не видел, как рожают дикие звери — медведицы, волчицы, но я принимал роды у коровы, и корова мучилась и даже плакала, крупные слезы выкатывались из ее сливовых блестящих глаз и струились по шерсти, капали с морды вниз, но корова не мычала, она молчала, смиренно, тихо принимала страдания, назначенные Богом. Душа моя! Потерпи! Сейчас! Сейчас!

Я уткнулся лбом в столешницу, укрытую толстым стеклом. Стекло треснуло. На полу были разбросаны осколки. Я, не думая, цапнул с пола осколок и сжал крепко. Он вон-

зился мне в ладонь. Я хотел мелкой болью телесной, кровью, стеклянным жалким укусом заглушить боль от ее вездесущего крика.

Так, упираясь потным лбом в край стола, я возговорил:

— Приими, Госпоже Богородительнице, слезная моления рабов Твоих, к тебе притекающих... Зрим тя на святей иконе во чреве носящую Сына Твоего и Бога нашего... Господа Иисуса Христа... Аще и безболезненно родила еси Его, обаче матерния скорби веси и немощи сынов и дщерей человеческих зриши... Темже тепле припадающе к цельбоносному образу Твоему... и умиленно сей лобызающе... молим Тя, всемиростивая Владычице...

Я задыхался. Роженица кричала неимоверно, дико.

На Николая поглядеть я боялся. Нельзя мне было сейчас на него смотреть.

Мне надлежало смотреть только на бедную Душу мою.

Догадывался я: подходит край великих родов. Эти роды, да, были воистину великие, в них вместились все: и страдания, мучения всех, не только рожаящих женщин; вся война в них билась и вопила; вся война, нами пройденная и нами не пройденная; все совокупное преступление, нами, грешными, совершенное и не совершенное. Из края в край в тех родах было пройдено нами наше Время; да, так, от края до края.

А что там, за краем, да Бог весть.

Да все равно.

<...> Вошла санитарка с лампою, накормленной керосином. Медовый, густо-золотой свет озарил все вокруг: операционный стол, хитро изогнутые инструменты, серую вату, корнцанги, контейнеры для кипячения шприцев и скальпелей в стеклянных шкафах, похожие на стальные детские гробы.

Стоя на коленях, я видел, как человек берет на руки нечто смуглое, красное, шевелящееся, кровавое, живое, и это живое крючится, дергается, сгибается и разгибается, кричит, потом вздувается шарами и углами неведомой плоти, расширяет первым земным воздухом утлые ребра, и вылетает крик, и я не успеваю понять, длинный он или короткий, сияющий радостью или полный ужаса.

Новая плоть кричит. Старая плоть молчит.

Человек явленный кричит о себе, кричит на весь Мирь: вот он я!

А мы слушаем новый крик и плачем. И, делать нам нечего, слушаем, слышим.

Я, слушая крик, медленно поднялся с колен. Молитвы остались позади. Впереди была только жизнь. И только вдоль жизни слезы текли.

Я смотрел на Душу мою. Она лежала спокойно, ноги ее, прежде широко и бесстыдно, страшно раздвинутые, были сдвинуты, плотно прижаты друг к другу и укрыты почти прозрачной, в кровавых пятнах, простыней.

Рядом с ней стоял человек. Врач. Николай. Он держал на руках ребенка.

Я смотрел на ребенка. Я видел ребенка.

— Вышел послед?

Мне казалось, я громко спросил, а вышло, прошептал.

— Плацента отделилась нормально. Пуповину я перевязал.

Он все сделал, пока я стоял на коленях и молился.

— Где плацента?

— А вам она зачем? Отдал собакам.

— Тише! Она услышит!

— Доктор, я думал, я разговариваю со взрослым человеком. А вы как дитя. Нет, хуже ребенка. Опомнитесь! Мне кажется, нам обоим...

- Пора на войну, — dokonчил я.
- Нас никто туда не пустит. Мы здесь нужнее.
- Мы здесь рабы.
- А на войне?
- А на войне мы свободны. Мы идем в бой и умираем свободными.

Я сделал шаг, другой к человеку с ребенком на руках.

На лежащую Душу мою старался не глядеть.

Боялся увидеть недвижимое ледяное лицо.

Младенчик на руках Николая крючил тощие ручонки, сучил ножками, сгибал и разгибал крохотные острые коленки. Саранча. Цикада.

- Какой красавец.
- Бросьте. Не смешите. Синий уродец, и рот как у клоуна, огромный. Хорошо, беззубый. А то палец откусил бы, раз-два и в дамки.
- Ребенок не волк.
- Любуйтесь на здоровье.

Николай хлопнул ребенка по заду и поднес ближе ко мне. Его туманные глаза были словно залиты жемчужным молоком, затянуты поземкой. Он весь с виду был скользкий, липкий, масляный, покрытый странной смазкой, смесью сукрови, лимфы и таинственных жизненных соков, у которых не было имени.

— Красавчик, что и говорить!

Я протянул руку и нежно, как только мог, коснулся пальцами масляного плеча, блестящих масляных ребер.

Перевел взгляд на Душу мою.

Она широко открытыми глазами смотрела на меня. Как я трогаю ребенка.

Рот ее был уродлив, крив, он вспух и отек, в запекшейся крови, в отметилах зубов.

Милая. Как же ты мучилась. Но ведь всё позади. Всё. Всё.

Она смотрела на меня, а я смотрел на нее и слеп; ее лицо сияло ярче звезды в заиндевевом окне, там, за разнотравьем морозных узоров, за белой крапивой и снежной лебедой.

Что толку, если я сейчас скажу ей, как я люблю ее?

Мы, двое мужчин, стояли над ее родильным ложем и держали на руках ее ребенка.

— Мальчик?

Я был глуп, слеп, улыбался и дрожал.

Я только что родился.

— Мальчик.

За окнами тихо занимался медленный, страшный зимний рассвет.

Полоса алая, полоса зеленая, ядовито-изумрудная, полоса черная. Таково было наше небо.

Оно здесь не сияло. Оно просто ложилось слоями цветных страшных бинтов, страшными квадратами потусторонней марли. Слоилось, налегало, отступало, опять надвигалось. Если горизонт на рассвете алый, точно жди снежной бури. Если закат черный...

— Солнце село в тучу, жди, моряк, взбучу.

— Что вы такое лепечете?

— Простите.

Я не спросил Николая, куда он денет новорожденного мальчика, где теперь будет жить Душенька. Не в бараке, нет; а где? Я ничего не спросил.

Я просто плакал. Заливался слезами, постыдными, обильными.

Я хорошо знал эту легенду: мужчины не плачут. Что есть роды и что есть смерть? Боже! как этих слов боятся люди! Не говорите мне про смерть, и фыркают, и отворачиваются.

ваются, и зажимают себе уши ладонями; не говорите мне про кровь, про тяжелые роды, в родах ведь тоже умирают, и младенец, и мать, и, нет, про это нам не надо, мы все появляемся на свет и все уходим отсюда, мы все это знаем, но только не надо про это, про это нельзя, это больно, это неприятно, а мы так хотим, чтобы нам было приятно. Все время приятно.

Плакал. И о людях боящихся тоже. Мы разучились смотреть прямо в лицо жизни. В лицо смерти. На войне я глядел в лицо смерти. Здесь, в заключении, в тоскливом барачном поселке на берегу ледяного океана, я не отрываясь гляжу в лицо смерти. Я, хирург, людей спасающий. И что? Я окреп сердцем. Я по-иному молю. Мне молитва стала последней, предсмертной драгоценностью. Сокровищем.

Николай посмотрел, как я бессовестно плачу и утираю ладонями слезы, поморщился и отвернулся.

— Бросьте, коллега! Мне неприятно.

Я наклонился, взял в руки подол рясы и подолом крепко, насухо вытер соленое лицо. Обернулся к Николаю.

— Знаете, на войне я вытаскивал у бойца пулю из сердца.

— Что, что?!

— Пулю. Из сердца. Из бьющегося сердца. В этом состояла вся трудность. Пуля прошла через спину, воткнулась в сердце сзади и осталась там. Я рассек мягкие ткани, мышцы и вскрыл ребра. Обнажил сердце. Вы оперировали на сердце, я знаю.

— Оперировал. Сто раз. Тысячу раз. Если мы отсюда выберемся, я буду оперировать только на сердце. Сердце, коллега, сердце. Это главный насос. От него все в человеке зависит. Более того. Многие патологии сердцу врождены. У меня есть идеи насчет них. Как их исправить. Я этим займусь.

— Займетесь. Да.

— Ну, обнажили сердце?

— Да. Освободил. Вижу, бьется. Резко бьется, быстро, птицей. Будто птица летит. Ухватить невозможно, не за что. Ассистента нет. Одна сестра стоит рядом, как обычно, губы кусает, глаза как блюдца, головой трясет: невозможно, нет, нет! А я уже скальпель сжимаю. Понимаю: взмахну ножом, нащупаю пулю, схвачу зажимом, вытащу. Желудочки нетронуты, предсердия работают. Жить будет. В рубашке родился.

— И что? Вытащили пулю?

— Вытащил.

— Зачем вы мне все это тут плетете?! Ребенка надо обмыть!

— Простите. Это рассказ о слезах. Я закончил операцию, пуля у меня на ладони лежит. На ладони смерть. Смерть держу в руке. А сестричка плачет-заливается. Бормочет: родился, родился. Вы его родили, родили. Я дал ей поплакать всласть. Не смеялся над ней. Не сердился на нее. Нашатыря потом дал понюхать.

— Дурак вы, нашатыря. Спиртика надо было пополам с водой глотнуть. Ее бы сердечко и выиграло.

Я отважился посмотреть на мою Душу.

Николай держал младенца, санитарка принесла таз с водой, они оба стали обмывать смуглого красного мальчика, а я смотрел в лицо моей Душе и целовал ее глазами. А потом склонился над ней, и под губы мне подвернулась, подставилась ее голая нога, нога высунулась из-под окровавленной простыни, и я наклонился еще ниже, еще и припал губами к тонкой, горячей, головней горячей в снегах марли и простынок ноге. Я целовал ей ноги, гладил ладонями ее руки, и странно, ноги были горячие, а руки холодные.

И снова заорал младенец; это его окунули в воду, я не знал, воду согрели, или санитарка, растерявшись, холодной из ведра принесла; да уж наверняка согреть-то на при-

мусе догадалась. Подводная жизнь, плескание рыбы. Сквозь прозрачное зеркало видна будущая жизнь. Я когда гляжу в воду, вижу, что будет. Мне сейчас в этот таз с водой не надо смотреть. Я не хочу знать, что будет с ним. С моим сыном.

Ты будешь жить. Разумеется, ты будешь жить. И я, сражающийся с врагом, бьющийся с ужасом, там, далеко, тебя не смогу защитить. Ты пойдешь дальше один. Это трудно, идти одному. Там, далеко, за слоем чистой воды, за укрытой белым саваном землей, за спокойно лежащим телом женщины, ее голыми руками и ногами, творится неведомое и святое, и такое привычное: купают младенца в тазу, серебром бьют в глаза водяные вспышки, что-то над ним причитают, что-то восклицают, уговаривают, что-то ласковое нашептывают, брызгают, плещут, хлопают, гладят, и горит непонятный светильник, керосиновая лампа, нет, плоска с жиром, нет, тусклая, красная электрическая лампочка, на береговой подстанции дали ток, это горит и светится кровь, ребенок звонко кричит, потом тихо покряхтывает, потом умолкает и только вздыхает, и я слышу его частые вздохи, так дышит жизнь, и мне до смерти надо лишь ее, ее одну спасти. Ее одну любить и славить. Ей одной молиться.

Ведь Господь — это Жизнь. И Путь. И Истина.
Последняя Правда.

<...> И однажды, когда я ранним утром так брел по снегу в лазарет, мне было озарение. Я подумал: как хорошо было бы уйти, уйти и уйти, покинуть тундру, каторгу, неволю и там, на просторе, начать собирать Души Живыя.

Души Живыя, Души Живыя, повторял я внутри себя, почему-то эти слова ко мне намертво прицепились, не отодрать, — Души Живыя, Души Живыя, да ведь и у меня душа живая, Душа моя жива, и души многих, тут, в неволе, чудом живы; но еще больше душ живых там, на забытой воле, и еще больших я излечу от смерти, и я буду по Мiру ходить с котомкой и проповедовать, и улыбаться людям, еще не убитым, и собирать их — в котомку?.. нет: с собою забирать, в память мою забирать, внутрь молитвы моей — забирать.

Как уйти? За свободу заплатишь. Не успеешь ее вкусить. Ведь расстреляют. Стрельнут с дозорной вышки. Пуля вопьется в спину. Никто не вынет пулю из твоего сердца, как вынул солдату ты. Нет таких искусников. И Николай не вынет; ему лучше, если тебя не станет. Хотя тебя, раненого, ведь на стол к нему приволокут, и именно он к тебе подойдет, со скальпелем и зажимом; больше некому.

А вокруг вас обоих, вокруг операционного стола будут, призрачные, толпиться, плакать, заламывать руки Души Живыя, Души Живыя.

И когда я все повторял это: Души Живыя, Души Живыя, — черная необъяснимая тревога, тоска охватывала меня, крепко сжимала в медвежьих лапах, взыгрывала вьюга, плясала вокруг меня, била меня по щекам, я отплевывался, отфыркивался, закрывался от бешеного снега и все шел, шел туда, где вставал к рабочему столу, где ждали меня ножи и зажимы, игла и кетгут, — в мой лазарет.

По слухам, Николай поселил Душеньку с ребенком в доме начальника. Что ж, там ее, глядишь, хорошо покормят. Она кормит грудью, и ей потребна хорошая еда и хорошее обильное питье: чай со сливками, с морошкой, с малиной, с медом, топленое молоко, клюквенный морс. Хоть бы дали ей чистое белье! Ведь она так и ушла из лазарета в ту ночь после родов, прижимая сына к груди, в окровавленной рубашке.

<...> Дитяtko. Милое. Который час? Который день? Ах, который век я тебе все это говорю? А может, кто-то иной говорит за меня: коты орут, птицы щебечут? Далеко, далеко мычат коровы: их подоить забыли. Если ты попросишь у начальника лазарета ста-

кан молока, буду тебе благодарен. Я тебе благодарен, ты мое зеркало. Я отражаюсь в тебе, не видя тебя, видя тебя душой; и вот я уже счастлив. Так я отражался в Душеньке. А Душенька во мне.

Бросил я семью мою, уходя на войну, а тут довелось мне спеть обширный, нескончаемый псалом о семейной несбывшейся жизни, счастливый, хриплый, тоскливый псалом. Так люди по льду идут босиком. Так запрягают лошадь в телегу, а она вдруг вырывается из сломанных оглобелей и пускается вскачь, играя, а потом вдруг возвращается к хозяину, что сидит в снегу, кулема, стащил овечьи голицы и плачет. Не плачь, человек! Много радости в жизни! Вот тебе радость, лошадь вернулась, не ускакала!

Душу мою забрал, к рукам прибрал врач Николай, выхвалился перед начальником, что, дескать, бабу при родах от верной смерти спас, и теперь эта баба его по праву; здесь уважают право сильного. Хотя, дитя, нету здесь никакого права. И нигде не было его, и никогда. Человек, для успокоения своего, выдумал право. Право, лево. Перепутать можно. И путают. Право и бесправие. Правду и лицемерие. Я часто видел, дитя, лицемерных людей. Как они лебезят! Как рассыпают алмазов снега под чужими ногами! Льют в пригоршни драгоценное сладкое вино! На пузо ложатся и ползут перед нужными, важными людьми. Мерзко на это глядеть. Но я глядел. И речи те сладкие слышал. И слыша их, сам себе говорил: будь смел, говори людям правду, даже если за нее надо головою расплатиться. Расплатишься, коли дело дойдет. Люди и лучше тебя такую цену платили.

Поселились Николай и Душенька на втором этаже дома, где жили начальники: начальник барачного поселка и начальник лазарета. Маленькую комнатенку им отвели. Да отдельную. Тяжелая дверь, черной кожей обита, литыми кнопками кожа к доскам пришпилена. Я бывал там у них. Входил. На меня со стены глядело зеркало. Оно качалось и клонилось. Или это я сам качался и клонился, да вроде не хмельной, а кровь сильней вина порой пьянит. Зеркало летело в меня белогрудой птицей, и в окно врывалось Солнце, ударяло мне в грудь пучком лучей, слепящий пучок погружался в лед зеркала, и вылетал из него наружу, и ударял мне в лицо, и я, слепой, застывал и закрывал лицо руками. Слепой! Мне Бог все время знаки подавал. Чтобы я над жизнью задумался и о смерти молился. Плохо и мало я молился, дитя, плохо и мало; на работе в лазарете пропадал, а потом еще к рыбакам в артель гнали, помочь рыбу тащить сетями, а часто и на сбор ягоды отряжали, а еще на кухне повинность нести, картошку чистить, захожу, а на полу горы грязной картошки лежат, и вся мерзлая, мягкая, сладкая, в сизой плесени. Не умели хранить.

Николай распахивал кожаную дверь передо мною. Я входил. Мел пол полою рясы. Душенька вставала с табурета и мне пододвигала: садитесь. В колыбели спал Душенькин сыночек, мазанный блиночек. Круглое лунное лицо, бледные щечки, ручонки за голову закинута, пальцы такие маленькие, тонкие, что тебе стрекозиные брюшки.

— Какой милый, какой славный.

Николай морщился.

— Не хвалите. Сглазите.

Теперь морщился я.

— Это суеверие. Суеверия от дьявола.

— А ваш дьявол от кого? Дьявол же без Бога не может? Или может?

Душа моя бросала дровишки в подпечек, ставила кипятиться широкий, как шкаф, медный чайник, брякала на стол миску с холодными блинами. Громко стучали часы, огромный будильник. Я воображал, как оглушительно, сотрясаясь в судорогах и подпрыгивая, он звенит в урочный час: железяка поднимает людей на бой. На жизни бой. И нет ему конца.

Я искоса рассматривал Душеньку. Она исхудала, сидела за столом иззелена-бледная, молча смотрела на блины, не на меня. Я ел, аккуратно сворачивая блин в трубочку. Прихлебывал обжигающий чай. Душа моя крепкий заваривала чай, крепче водки, вырви глаз.

- Ешьте, ешьте блинчики, не бойтесь, это постные, без молока. На постном масле.
- Я не боюсь.

Ребенок в колыбели начинал хныкать, Душа моя выплывала из-за стола, и подходила к нему, и тихо брала на руки. Садилась, с ребенком на руках, за стол. Я клал недоеденный блин на блюдец и глядел на ребенка. Водил по его сонному личику зрачками. Выискивал в нем свое несбывшееся. Навек утраченное.

- Глядите? Глядите. Черты свои ищите? Ищите.
- Я ничего не ищу.
- А вот я ищу.
- Мне все равно.
- Да ведь и мне все равно. Я пошутил.

Детонька, нет в жизни, нет в ней, бедной, раз и навсегда затверженной истины! Сегодня враг, а завтра друг. Сегодня разбойник, сейчас из Ада, а завтра в небесах со Христом. Вот это, это я помнил хорошо.

Да все, все тут у них, в святом семействе, было налажено: рыбы на леске висели и вялились поперек окна, кумжа, треска, навага; над колыбелькою на ниточке гремели и шелкали самодельные погремушки — в шарики из-под пинг-понга Николай охотничьей дробы натолкал, — в углу стояли широкие лыжи-снегоступы, ружьецо, острога, на длинные шесты сети намотаны, рыбу из моря тянуть. На подоконнике рос колючий пустынный столетник. Два сундука у стены горбили медвежьи спины, обитые медными листами. В тех сундуках, догадывался я, Душенька одежду держит, простыни-пододеяльники и подзоры. Откуда все хозяйство? Веками копилось. По наследству перешло. Начальник лазарета, видать, семейству новому благоволил.

Никуда из Мира, дитя, не исчезает добро. Оно живет даже в Аду.

- Спасибо за угощение.
- Вставал. Венский стул четырьмя ножками визжал, царапая половицы.
- Куда же вы... посидите еще!

Я ловил глазами ее глаза. И тут же глаза отводил. Не мог глядеть. Мог только улыбаться.

- На это сил еще хватало.
- Благодарствую. Я лучше еще загляну. Потом.

Я обводил глазами комнату, и перед зрачками проплывали: медная миска, страшный чугунок, медная ступка с торчащим пестиком, подзорная труба с разбитым стеклом, трехрогий подсвечник, латунный чайник для заварки с гнутым, будто перебитым в драке, носиком, о чудо, сахарница, да пустая, без единого кусочка сахара, деревянный расписной половник, верно, им Душенька зачерпывала из котла уху, оловянная солонка, серая крупная соль внутри, не соль, а разбитая молотком хрустальная друза; проплывали одеяла, рваные простыни на спинках стульев, брошенные возле сундуков мокрые холщовые тряпки, мыть полы, швабра возле окна, колючие узкие листья алоэ, а земля сухая, полить бы надо; пузырьки с лекарствами, пустые рюмки, корешки древних староверских книг, и там, дальше, голову чуть повернуть, на стене Распятие: да, староверское, медное, величиною с голову ребенка, и Господь, через муки, через последний великий ужас, изогнув страдальчески брови, широко раскинув пробитые ко древу руки, глядит на нас.

Не мы на Него, а Он на нас.

Так вот люди жили и при Аврааме, Исааке и Иакове, и так живет здесь и сейчас Душа моя; живи, Душа моя, только живи, а я буду молиться за тебя, чтобы ты жива была.

<...> Она отпивала из кружки чай и бормотала: а мне сейчас война снится, снится, эшелоны снятся, раненые в эшелонах, вагон трясется, мы вагон обходим, наблюдаем, не умирает, не умер ли кто, сторожим смерть, бережем жизнь и устали дико от этой стражи, а враг наступает, и все мне снится, что враг, дрянь такая, превосходит нас во всем, и людей у него больше, и зениток, и самолетов, и танков, вон он, над нами, самолетный гул, воздух от гула тягучий и плотный, им невозможно дышать, слезы сами льются, просыпаюсь, а подушка в слезах.

Ты не плачь ночью, не плачь, шепчу я ей, и коричневый остывший чифир дрожит в ее чашке, как густая венозная кровь.

Мне снится, шепчет она невнятно, быстро, что раненые к нам в лазарет все поступают и поступают, все притекают и притекают, а мы с убитой сестрой Лизой все стоим и стоим у стола, и мы за хирургов, всех хирургов убили, а мы за них, и смены нам нет, некому нас сменить, и мы стоим у стола, сами оперируем, сами режем и зашиваем, зрение вдруг застилает тьма, чуть не падаем, ослабли, и вдруг вправду падаем, кто из нас свалился, Лиза или я, а, да, это убитая пьяным жестоким офицером Лизка, офицер, разъяренный, выстрелил тогда в дверь, пуля Лизке в лоб, а почему же она живая стоит у стола, да просто потому, что она помогает мне, а то я упаду и не встану, а нам надо раненых спасать. Для иных мгновения решают все! Жить, умереть. И мы с Лизкой стоим почему-то за столом в касках, наши каски обтянуты марлей, ну чтобы хоть намек на стерильность был, я во сне соображаю, это нас предупредили, что каски надеть надо, а то взрыв, и осколки летят, и мы сами тут, над раненым, умрем.

Милые, бормотала Душенька, родные, а ведь каждого раненого мы там, в лазарете, любили как родного, мальчишечки такие, желторотые, ну они же как дети, так они и есть дети, а уже бойцы, самолеты на них налетают стаями, танки идут железными стадами, нет железу конца, а они, живые, все стоят и стоят, стоят насмерть, вот они уже очень хорошо выучили эти слова — стоять насмерть, и стоят, держатся... израненные, осколками истыканные, кровью обливаются, а стоят, поле боя не покидают. Там, во сне моем, вижу: у иных ребят десятки ранений, понимаю, это мина разорвалась, а кто подорвался на mine, вот курсантов везут, почти у всех ранения в брюшную полость, кто в сознании, кто бредит, у кого шок, у кого коллапс, у кого уже перитонит и сепсис, и температура под сорок и даже за сорок. Родные, милые, какие громадные раны я видела! Во сне или наяву, спрашиваю я, и голос мой теряется и тает. Наяву, конечно, отвечает Душенька, и губы ее дрожат. На стол раненого кладут, а я от ужаса застываю. И так стою, ледяной столб. Кишечник выпадает. Докторов всех поубивали, а я сама кишки раненому в живот заправляю! Руками! Вот этими, этими, голыми руками! И поднимает руки над столом передо мной, и показывает мне руки, и руками трясет, будто бы я не поверю, что да, этими, вот этими руками, а Николай подливает в чашки заварки и тихо спрашивает меня: покрепче? А Душенька от тихого шепота поднимает голос до резкого крика, и жмурится, и кричит, и слезы брызгают у нее из глаз на скатерть: мы с мертвой Лизкой оперировали его больше двух часов! Больше двух часов! А он все равно умер! Все равно! Все равно... умер...

У нас и такие сестры в лазарете были, раненый мальчонка умирает, а она там же, в операционной, хохочет, со смеху покатывается, потом курит, в окно смотрит, зевает, спать хочет. Да! и такие были. И такие были, что глядят, как хирург оперирует, а потом в коридоре лазарета вздергивают плечиком: ты знаешь, я сегодня сама оперировала, мне скальпель доверили, так я врачу подсказала много всяких точных хо-

дов хирургических, а он и не знал, глупенький, он меня благодарил! И ждет, кукла, восхищения. Хорошо, у нас такие фифы долго не задерживались. Когда враги заявили, таковские балеринки к ним быстро переметнулись. Хорошо бы их всех убили! Убили... убили...

Тихо, тихо, шептал я и гладил ее по руке, по гусиной, в пупырышках, гневной коже, не ярись, не плачь, их и так Господь накажет. Уже наказал. Мы не знаем как, но наказал.

А мы с Лизкой, шепчет она опять еле слышно, в моем сне, все у стола стоим, стоим... нас никто не сменит никогда... нет у нас санитаров, нянечек, врачей... никогошеньки нет, только мы с Лизкой...

И опять, опять несут ребят, на mine подорвались. Один мальчик даже не стонет. Нечем стонать. Голос исчез. Ноги оторваны. Стопы кровят, растопыренные, на красные веера похожи. Я беру в руки эту ногу и так с ней стою. А потом падаю. Разум отшибает напрочь.

Я спрашиваю мертвую Лизку: Лизка, а когда наши придут? Может, никогда? Лизка поднимает ко мне лицо. Проверяет на больном жгут, повязку. Говорит мне тихо, размеренно: Душенька, я больше не могу. И я не могу, отвечаю я ей. Сейчас бы на печке поспать! Залезть и согреться. Шинелью до ушей укрыться. И будет сон во сне. Представляешь, ты спишь, а тебе и во сне снится сон. Сон-матрешка! Видала ли ты такой когда в жизни! Да никогда!

Точно. Никогда, она мне отвечает.

Тихо, тихо, утешаю я Душеньку, тихо, милая, мы все поняли, это сон во сне, а она все не унимается: раненые все прибывают, нам некуда их класть, мы кладем их на пол, и пол весь усеян ранеными, а они все наплывают, все плывут, живые пробитые лодки, и где же здесь Бог, почему Он не видит, что здесь творится, почему не поможет?! Господи, помоги! Да слышит ли Он! Сил наших нет уже глядеть на людские страдания! И со всех сторон к нам с мертвой Лизкой несется: сестра, сестренка, сестричка, сестрица, сестренушка!.. Сердце, Алеша, сердце ведь есть у меня... тяжелые ранения такие... в живот, в затылок, в лицо, в грудь... отломки костей торчат, открытые переломы рук и ног... простреленный позвоночник... Вместо шин привязано к конечностям все что угодно: доски сараев и заборов, дедовы лыжи, портновские сломанные метры, жгуты наложены из скрученных рейтузов, из порванных в куски атласных старинных покрывал, с вышивкой гладью, и по зеленому яркому атласу вышиты райские Жар-Птицы и пышные розы, а кровь течет, и натекает лужами под койки, под операционный стол, и отовсюду слышно: сестрица!.. сестрица!.. И меня, родные, Алеша, Николай, за руки хватают, а я их спрашиваю, как их зовут, ну, чтобы обратиться по именам, и они мне бормочут: Алексей!.. Николай!.. Вот опять за руку во сне схватили. Я застыла, и пульс во мне застыл, это значит, сердце застыло. Остановилось?! Как бы не так! Молодая я. Меня не остановишь! Гляжу: ведь боец умирает! А мне шепнули, когда в операционной с носилок сгружали: он герой. К Герою приставили! К награде на всю страну... Глажу героя по лицу. Вот ужас! Смерть. Близко. Плакать?! Зачем?! Смерть тебя не услышит, не сжалится. Губы вздуваются, пальцы щиплют лазаретную простыню. Вытянулся. Все! Это сон, беззвучно кричу себе во сне, это сон!

Милые, во сне моем мороз трескучий, минус сорок, мы бойцов укрываем шинелями и шубами, а они все равно дрожат, кто будет жить, хочет есть, а иногда есть хотят и перед смертью, насладиться едой напоследок, и я знаю, утром я буду писать письма родным погибших, как, когда и где боец погиб, это письмо из лазарета, дойдет, представляю, как мать залетится слезами, как на пол в избе упадет в рыданиях лобушка.

Душенька, говорю ей, ты не плачь, а Николай весь белый, губы кусает, он уже устал кипятить чай, ребеночек кричит, им надо спать, семье надо отдыхать, а я куда пойду,

а я пойду в барак, Душа моя, твой сон закончен, началась явь, ребенок плачет, ночь на исходе, пора вставать, да и мне скоро вставать, я прихожу в лазарет затемно, вслед за мной придет Николай, и мы будем жить, работать и дышать — это значит воевать, а ты поспи, хоть немного поспи, нет человеку на земле сна, потому что война, а ты вздремни, последние дни, а я пойду... глядеть в ночи на звезду. <...>

НИКОЛАЙ

Они, втроем, пропали.

Пропали и пропали.

Она, доктор и ребенок.

Начальство охранников на поиски отрядило, с винтовками. Ни записки не оставили, ничего. Охрана пошла сначала вдоль берега моря, побережье прочесывать. Никого. Я когда домой пришел вечером из лазарета, и никого, комната пустая, я сразу догадался. Это не доктор виноват. Это она сама его подбила. Я видел: я ей не мил. Чужой я ей. Я старался сломать лед. Да плохой я ледокол оказался. Застрел во льдах и стал тонуть. Не моя война.

А чья?

Война, настоящая, там идет, вдали. Далеко в море. Далеко на суше. На западе. Ехать надо, пересечь тундру и тайгу, переплыть реки. Тогда достигнешь войны.

Я надел маскхалат и побежал на широких охотничьих лыжах за охраной.

Я сам хотел их найти.

Охранники топтались близ заберега, курили. Один прицелился, чаял подстрелить белька, другой ему помешал. Нагнул ствол и отвел пулю. Мужик изругался бешено, да скоро остыл, уже смеялся, на солнце шурился.

— Думаешь, далеко ушли?

— Да ничего я не думаю! Выследим! Не так уж они шустры, чтобы босиком по воде до Кеми усвистать!

— Да уж. Босиком не выйдет. У Христа вышло, а у них нет.

— Однако их могла приبلудная лодчонка подобрать.

— Не исключено. Тогда начальник нам лишнюю пайку к обеду не выделит.

— Какая там пайка! На хлеб и воду посадит.

Я слушал их слова и не слышал.

Охрана двигалась в одну сторону, а я, будто кто меня в спину толкнул, поехал в другую. Недолго катился. Я увидел их издали. Они четко смотрелись на ярко-белом снегу. От такого снега можно ослепнуть.

Какое охватило искушение — вздеть винтовку и выстрелить! Я себя поборол. Еще этого не хватало, убийства. Мало я навидался смертей на войне. И здесь. Здесь люди умирали похлеще, чем на военном театре. Кого охранники забьют до смерти. Кто сам в бараче на гвозде повесится, на рыболовецкой снасти. Кто за ночь замерзнет, и поутру за ноги узники вытаскивают покойника на белое снежное солнце. И он лежит с улыбкой, как младенец. А меня срочно зовут из лазарета — сделать мертвецу искусственное дыхание. Приду, ругаюсь, плююсь: какое вам дыхание, окошел уже. Прикоснись и руку отдерну: такой ледяной. Будто айсберг ладонью потрогал.

А эти!

Шли и шли, крепко прижавшись. Доктор обнимал ее за плечи. Она несла на руках ребенка. Шли, обнявшись, увязали в снегу, выпрастывали ноги из снега, брели опять, медленно, как во сне, передвигаясь, нет, это не побег, подумал я горестно, внезапно задрожав, как в простуде, это им просто надо было побыть вдвоем. Да! Она его. А он —

ее. И делу конец. Я-то тут при чем? Я-то куда сунулся? А ведь сунулся. Зачем? Сам не знаю. От любви погибал? И вроде не погибал. Любую любовь можно в себе затоптать. Любовь, подумаешь, рефлекс, похоть, восстание плоти, запахи кожи, подмышек, шеи, волос.

Ребенка, сволочи, заморозят. В какую шкуру какого зверя они его укутали?

Как же я любил ее! Я это понял лишь сейчас, когда нагонял их, медленно бредущих, на широких таежных лыжах, умирая от тока бешеной крови в висках и затылке, ловя мороз и солнце жадным диким ртом, мысли рвались в тряпки, в лоскуты под безумным черепом, то тверже стали, то мягче парафина, они все ближе, я все ближе, расстояние между нами сокращается, ну, сейчас я вас нагоню, вы у меня получите, я толкну вас и уроню в снег, вы будете барахтаться в снегу, пытаться подняться, но не сможете, вы сможете только стоять в снегу на коленях, а ребенок, он же будет заходиться в хрустальном плаче, в поросычем визге, он выпадет на чистый снег из горячей шкуры белого медведя, откатится прочь от вас, и я подкачу к нему на лыжах, подхвачу его, крепко прижму к себе. Мой сын! Что они творят, безмозглые уроды! Любились бы, собаки, под кустом! Тебя оставили бы мне!

Тремя, двумя широкими шагами я нагнал их. Они не слышали, как я сзади подъехал. Я прокатил на лыжах вперед, остановился перед ними. Они встали. Они не особенно удивились. Думаю, им было все равно. В их глазах блестели слезы. И у него, и у нее.

— Ну что, балбесы? Погуляли?!

Ребенок на руках матери спал крепко. Не просыпался.

— Погуляли, — тихо ответила она.

Ее синие глаза перестали на меня смотреть и стали обводить большой, огромный круг. Она обводила ярко-синим, небесным взглядом небо, ледяное иконописное солнце, сугробы, волнами катящиеся по тундре, чисто-белую кромку льда, серую рябь живой далекой воды.

— Жаль, что ты меня не убил. Там. На войне, — сказал доктор. Его бороду пошевеливал соленый ветер.

— Это мне жаль, что ты меня не убил.

Я сам не знал, как у меня это вырвалось.

Мы стояли друг против друга, и подводный страх двойного зеркала обнял меня: я отражался в нем, а он во мне.

— Ну что? Заворачивай оглобли!

Мать с ребенком стояла посреди снегов. Как не отсюда. Как неживая. А небесной кистью написанная, беличьей, колонковой голубизной.

Я пытался заглянуть в ее глаза. Бесплезно. Она смотрела мимо меня и сквозь меня. Не видела меня. Я для нее был никто.

Охранники подкатили к нам. Им даже не понадобилось наставлять старые ружьишки на мать, доктора и дитя. Они сами пошли, покорно, так же медленно, но теперь не вперед, а назад. Беда в том, что назад они шли, как вперед. Назад, а все равно вперед.

Я катил за ними, и слезы, чертовы слезы наполняли мне глаза, я твердил себе: это ветер, это от ветра, на морозе, утирал мокрые подглазья и скулы рукавицей, а чертова жидкость все катилась из-под глазных яблок, круглых, безумных, слепых, я бы хотел ослепнуть, ничего больше не видеть, я же видел, как он смотрел на нее, а она на него, и вот ведем мы их домой, а дом наш тюрьма, а игрушки наши — пули и колючка, и я знаю, им никакая смерть не страшна, они здесь как на войне, а по правде они уже умерли, и я сейчас наблюдаю их бесплотные души, вот идут две души, впереди, и я за ними, и я плачу сам о себе, и спина трясется, а они идут, обнявшись, тесно прижавшись, и я хочу плюнуть им в спину, и не могу, потому что не понимаю, что уже молюсь

за них. Я никогда никакому Богу не молился. Все это придумки, измышления. Человек Богом себя успокаивает, только и всего. А сейчас я шел за ними и молился им и за них. Впервые в жизни.

Я на всю жизнь запомнил, что я в той снежной пустыне бормотал.

Милые люди, ну вы давайте, не сдавайтесь, вы только живите. Вас убивать будут, а вы только живите. Бить будут, наплюйте. На мороз голяком выведут — улыбайтесь. Я вижу, я слышу вас. Лучше вас нет. Я вас ненавижу, потому что вы любите друг друга. Я вас люблю, ведь у меня нет другого выхода. Люблю и ненавижу, вот ведь как. Так бывает. Ненавижу и люблю. Обоих. Да вы давно одно. Зачем я вас узнал? Это все война. Она нас свела. Только не падайте в снег. Только идите. Идите. Уже недолго.

Как так получилось, что шелкнули затвором во мне, глубоко? Там, куда мне самому хода не было никогда. Я подкатил на лыжах к дому начальника. Протянул руки к Душеньке: мол, дай мне ребенка, понесу, ты устала, наверх по лестнице одна поднимешься, а я с младенцем за тобой. Доктор застыл рядом. Глядел круглыми глазами. Круглыми совиными очками.

Охрана заворчала.

— Да мы бы тебя отвели за бараки, дрянь такая, и шлепнули!.. если бы ты не врачевал тут. Костоправ...

— Товарищ хирург, вы к себе давайте!.. заволодали на ветру-то.

— А этого козлина бородатого уж до барака доведем... не потеряем по дороге.

Я глядел на охранников и не видел их.

— Ступайте, ступайте. Доктор поднимется ко мне, я его чаем напою.

— Ну, чаем так чаем... как решили уж...

— Идите, товарищи доктора... ты, поп, больше такого не твори, иначе...

Душенька крепче прижала к себе ребенка. Поднималась по лестнице первой, мы за ней.

Ввалились в комнатенку. Запахло кислым молоком. Душенька положила младенца на диван. Он проснулся и громко заплакал.

Я был, стоя тут, рядом, его зеркалом, и в моем черном бездонном стекле все громче плакал он, а это я, я плакал.

АЛЕКСЕЙ

Кармен, Дульсинея, Офелия, Марфа, чья-то чужая Душа; сорванная со стены чудотворная икона. Образ синеглазый. Детонька, ты слушаешь? Слышишь... Я сам себя не слышу. Голос тоже может слепнуть. Говорю, а звука нет. Обезголосел. Моя Душа смертельно больна. Я бы мог сделать ей операцию. Надсечь дрожащий внутри нерв. Выбрать единственно верное место и полоснуть по нему скальпелем. Хирург, его дело такое: молиться и резать, резать и молиться. В операционной начальник навесил новые электрические лампы, и санитарка больше не стояла над нами с керосиновым светильником. Ребенка успокоили, мать покормила его, я глядел, как она сует ему грудь, а он крепко вцепляется беззубыми деснами в лиловый изжеванный сосок. Я не помню, дитя мое, кто из нас первый начал вселенскую ссору. Человек — это Вселенная, и один звездный остров наползает на другой, и сшибаются звезды, пытаюсь пройти друг сквозь друга. Свет сквозь свет. Не задеть. А все равно задеваем. Лучами друг друга раним. Борьба! Ее не уничтожишь. Как часто видел я ее во сне! В ярких видениях моих! Сшибаются лбы. Схлестываются руки. Мы с Николаем уже бились смертным боем близ родильного ложа нашей любви. И вот живы мы, и жива она, и жив ребенок. Так зачем снова ступаем мы в топкую грязь безумия и вражды?

— Ты можешь отсюда исчезнуть. Попросись на поселение. Там, на берегу, если идти на заход солнца, живут лопари. К ним иди. Начальник отпустит. У тебя много заслуг. Я, слушай, ну пойми ты, можешь меня ударить, казнить, можешь всего исплевать меня, я тебя видеть не хочу. Не могу. Ты как клин, и вбили его в нашу семью.

— Куда мне идти?

— Ненавижу я тебя. Сгинь.

— Я не исполню твою волю. Я не твой слуга. Только волю Бога.

— Провались ты со своим Богом!

Кто первым на кого руку поднял? Я не упомянул. Слепая моя память этого не сохранила. И правильно. Так память защитила меня от воспоминаний, что, возвращаясь, умертвили бы меня. Всяк человек грешник. Я тоже грешник. Господи, помилуй. Господи, прости.

Наша драка: снова, опять, всегда. Накатывается волна адского прибоа. Человек воюет с человеком. Все повторяется. Повторяется годовой круг. Повторяются рассвет и закат. Повторяется чувство. Любовь одна. А людей много. Мы повторяем себя. Один лютой бой отразился в другом. Ну, убей меня! Убили же люди Бога своего.

Кашель, кашель, похожий на вопль, женщина задыхается, кашляет дико и надсадно, выворачивает кашлем нутро, захлебывается, так захлебываются последними рыданиями, а о чем плакать, не о чем, все мы грешны, все мы несчастны, все мы умрем.

Все?!

Помню лишь одно. Я размахнулся, а Душа моя сунулась под руку мою. И я ударил, мнил я, соперника, а ударил ее. И рухнула она на пол, на крашенные масляной краской основные половицы и, падая, сильно ударилась виском о медью обитый острый край сундука.

Сундук. Добро людское. Хранилище. Звери и птицы там живут; соловьи и совы; медведи и песцы; голицы и валенки; простыни и подушки; да вся жизнь человеческая в мощном сундуке жива, вынимай не хочу, расстилаю не могу. Душа моя лежала на полу, и ведь я знал это, знал, что так будет. Я видел это. А себе врал, что нет, не будет. Я же все видел! Все! До перышка! До капли! До позолоты на иконе! А икону сдергивали, швыряли об пол, трескалась она надвое, и ее сжигали, сжигали потом на задворках, плясали вокруг нее и пели: мы наш, мы новый Мир построим! Какой Мир строим мы сейчас? Какой придет потом, после, строить нас? Разрушенных, разбитых, нас, руины...

Она лежала. Я стоял. Я знал: ничего сделать нельзя. Мертва.

И это я сам ее убил.

Случайно? Ничего нет случайного. Все предрешено. Наказание мне за все грехи мои; за то, что мало и плохо я боролся за Душу мою, мало и плохо защищал ее и любил ее. Я сейчас ее люблю любовью огромной, огромней Мира, моря и смерти. Николай приблизился ко мне. Лицо его было страшно. Я понял: он меня теперь убьет. И я хотел этого.

Он поглядел на женщину и тоже понял: нет, не спасти. Я хирург, он хирург, разве мы можем самым острым скальпелем вырезать из человека смерть? Шагнул ко мне, руки его поднялись, я подумал, он обнять меня хочет, а может, задушить. Руки опустились. Он оскалится, скрипел зубами. Хотел кричать, я это видел; кадык надувался на его глотке. Ударил меня в грудь, раз, другой. Я устоял на ногах. Я успел только увидеть, как летит ко мне его рука, сжатая в железный кулак. Железный. Железный.

Плоть может стать железом. Война доказала нам это. Зачем все так вышло? Мы хирурги, я учился у него, он учился у меня. Наше мастерство кроваво и свято, мы возрождаем жизнь посреди смерти; зачем ты, Душа моя, вклинилась, затесалась меж-

ду нами? И вот хирургов нет, а есть два несчастных человека, и один несчастный бьет другого беднягу кулаком; крепко; страшно; в лицо. Выбивает глаз. Если бы это был палач! А я был казнимый! Святое семейство! Не мое, чужое! Зачем теперь убита мать, а отец ослеп от ненависти!

...А я, я ослеп от любви.

Я сам убил мою Душу, чтобы ее спасти от позора и зла, чтобы она воскресла. Я явился рукой Бога. Нет руки дьявола; есть только Божия воля. Я читаю Его письмена. Пою Его псалмы.

Губы мои дрожали. Кровь лилась из глазницы. Глазное яблоко всмятку. Оперировать бесполезно. Забрось скальпель твой в светлую, слезную волну. Отработал ты. Одноглазых хирургов не бывает, так же, как одноглазых Херувимов и Серафимов. Слепой хирург, дитя мое, все равно что глухой музыкант. Я себя уговаривал: значит, теперь у тебя будут зрячие пальцы. Зрячей твоей Души нет. Как ты будешь видеть вдаль? Как будешь пророчить? Избрал тебя Бог жезлом Своим, и обездолил тебя Бог, низвергнув в бездну плача; расцветут в иной земле твои пророчества, иное небо ты провидишь.

Сражение двоих. Друзья либо враги. Друзья и враги.

Я медленно сел, осел на пол. Рядом с Душенькой.

— Мы братья!

— Нет!

— Тебе кровь мою перелью!

— Нет!

В меня вбивали «нет!», раз, другой, третий, такие великанские кривые гвозди, с широкими шляпками, острые концы, красная ржавчина, черное древнее железо, и нет, нет, кричу я призрачной, из снов моих, царице Елене, нет, матушка!.. ты Крест Господень нашла, но нет, не надо из пропитанной кровью земли откапывать гвозди! Гвозди, звезды. Вбиты по шляпку в черную небесную смерть. Я не могу их сосчитать. Ими, гвоздями, в меня вбивают страх. Боль. Любовь. В меня небесными гвоздями вбивают мою смерть. Я умру; и я воскресну. На звездном Страшном суде. Они все, звезды, горели в синих, лазурных очах нежной Душеньки моей. Все назначено вынести. Все записано на скрижалях. Каждый человек, убивая другого, поет свою песню. Кто же виноват, что песня такая печальная. Это наша война, она может возгореться посреди любого Мира.

Николай стоял надо мной, а я сидел на полу и не мог поглядеть на него единственным глазом.

Спросишь, почему я теперь не вижу ничего? Второй глаз ослеп сам по себе; я не мог остановить развитие глаукомы, она разрасталась внутри, и глаз, деточка, ведь он кусок мозга, выведенный Богом наружу, под лоб; косой конус уходил внутрь моей мысли, разрезал разум, прокалывал пустотой ясноликое стекло, что отражало все и вся, лишь меня самого отразить не могло. Я всегда был зеркалом всего и вся. Хирург и должен быть зеркалом; он иной раз надевает круглое зеркало на лоб, чтобы отразить пучок направленного ему в лицо света и яснее рассмотреть беду у человека внутри. Я отражал Солнце. Я отражал любовь. А любовь, дитя мое, не нужно отражать. Ею надо светиться. Светить. И лишившись зрения, я обрел собственное свечение. Это трудно объяснить, но это так.

Больше я тебе скажу: утратив зренья, я овладел Временем сполна. Я видел его насквозь, я менял времена местами. Я ходил по Времени, как по снегам, по тонкому льду, по холодной воде. Мирь разымался передо мной, как мышцы под лезвием скальпеля, и я разваливал сильными руками края разреза, и выворачивались передо мною наружу все алые и синие внутренности, и я поражался, до чего чудесно все в челове-

ке было устроено Богом; ослепнув, я видел землю, небеса и дух, я видел насквозь, до дна прозрачную душу и утлое тело, мы плывем в лодке тела, и вдали остров, а может, айсберг, а может, зеркало, новый материк, безлюдная снежная пустыня.

— Что я наделал...

Он сел на пол рядом со мной.

Душа моя бездвижно лежала рядом с нами.

— Ты не виноват.

Я в первый раз назвал его на «ты».

Он согнулся, будто переломился пополам, уткнул лицо в ладони.

— Нет. Виноват. Мне наказания нет. Мне только смерть.

— Не плачь, брат.

Он отнял руки от лица, и я испугался его лица.

— Сдохнуть хочу!

Воздух зазвенел под ударом безумного вопля.

В ответ на дикий крик вновь заплакал ребенок.

Я ощутил боль. Вот сейчас я ощутил боль.

Кровь заливала лицо, не сворачивалась. Я улыбнулся Николаю сквозь кровь.

— Есть сын. Его надо растить. Сколько людей вокруг... страдает... и не ропщет. Не гневайся и ты. Знаешь...

Его лицо плескалось в меня уродливыми, адскими волнами.

— Ну что, что?! Что я знаю?!

Я взял его руки залитыми кровью руками. Руки мои дрожали. Такими дрожащими руками не может хирург операцию творить. Нельзя.

— Тебе надо поверить в Бога.

— Брось! Какой Бог! Мы сами себе боги. Да, видишь, плохие!

— Так не говори никогда.

Он плакал, выл и кусал губы в кровь.

— Куда вот ты теперь?! Кривой?!

— Не бойся. Не тревожься. Я уйду отсюда.

— Тебя не выпустят!

— Я сам уйду.

— Тебя убьют!

— Меня уже убивали столько раз, а видишь, живой я.

— И куда же ты пойдешь?! На войну?!

— Если я до нее дойду, рад буду. Правда. Рад.

Я что-то живое, теплое ощутил на себе. Странно мне стало и горько, хинно, горчично. Меня обхватило странное чужое тепло со всех четырех сторон. Я не понимал, что это. Это Николай обнял меня, обнимал, пытался обнять крепче, крепче. И весь трясся, сотрясался, качался, дергался, как в судорогах, да его и били судороги нерожденного, несбывшегося.

Вся плоть Мира есть книга, и ее мы читаем; есть песня, и ее мы поем. Есть молитва, и часто ее шепчут неверующие. Дитя мое! Ах, милая, да ты совсем замерзла, рученьки твои застыли, не становись ледяной, давай я на тебя свое одеяло накину. Верблюжье одеяло, колючее, да все уж повитертое, других в лазарете не дают. Я открываю тебе жизнь мою, она шкатулка зеркальная, она старый трельяж, отражайся, любуйся собой, ведь ты это я, так все просто. Я излечиваю тебя от единственности твоей. Все связано со всем. И все сущее во мне; и все Время в тебе; и все великое становится малым; и беглый поцелуй становится полночным небом. Я Алексей, и я ты, и я твой

красный платок, туго завязанный у тебя на затылке. Не верь моей слепоте. Не плачь о моей глухоте. Слепой гораздо больше зрячий, чем те, кто видит.

<...> Тихо спустился по лестнице. Тихо пошел по дороге. Звезды снегом били в лицо. Я стирал мокрой ладонью. Мешок угнездился за плечами, между лопаток.

Шел и шел. Вышел за ворота. Они были открыты. Кто их открыл?

Шел и шел. В меня со сторожевых вышек, где таились часовые, никто не стрелял.

Шел и шел. Звездное небо разостлало надо мной свой вышитый алмазами шатер, воздвиглось над мною, подобно рождественской наряженной елке. О, елка небесная, так думал я, идя по дороге, я уж и забыл, когда я праздновал Новый год, Рождество, дни рождения родных и любимых. Только в Пасху Господню бежало ко мне, быстро перебирая всеми жгучими ногами-лучами, развеселое солнце, а я бежал навстречу ему и крепко обнимал его.

Шел по укатанной машинами дороге. Снежная, белая, дорога тихо сияла во тьме раннего зимнего утра. Кто тут проехал недавно? Чьи на снегу отпечатались шины?

Шел медленно, никуда не спешил. Души Живыя, они же появятся скоро. Сейчас. Я им нужнее, чем они мне. Мы нужны друг другу. Проснитесь! Встаньте! Я иду к вам.

По дороге навстречу мне шла девочка. О, дитя, почти как ты, такого же возраста, с такой же улыбкой и легкой походкой. Она гнала перед собой хвостистой овцу, барана, козла и козу.

— Милая! — окликнул я ее. Она остановилась, и животные тоже встали. — Живали ты?

Девочка, в коротком полушубке, в черных валенках, потопала ногами, сбивая с валенок снег. Воззрилась на меня.

— Откуль ты, дяинька?

— А тебе зачем знать?

— Ну и ступай, а я тось побреду.

Уже занесла руку с хвостистой, чтобы вперед погнать овец и коз.

И тут вдруг вокруг нас стали появляться из воздуха лица, лица, лица. Множество лиц. Сначала лица крутились рядом, призрачные, вспыхивали и гасли и опять возгорались. Потом стали появляться фигуры. Фигуры просвечивали насквозь. Парили, без одежды и голые, Господи, сколько же голых тел я навидался за всю мою врачебную жизнь. Может, то были мои умершие больные? Те, кого я не смог спасти? Они бились в темном утреннем воздухе, неслышно хлопали невидимыми крыльями, и я подумал: шестикрылые Серафимы над нами. Лица снижались, лица смотрели нам в лица, близко, пристально, страшно, светло, темно, мне и пастушке. Я услышал шепот. Они шептали мне в уши. Что? Прислушаться не было возможности. Завывал ветер. Пред-рассветное небо переливалось лимфой тревоги, сукровью будущих ран.

Я глянул на девочку. Она закинула голову в толстой вязаной шапке, глядела расширенными глазами. Она тоже видела их.

Сжала в руке хвостистину.

— А и хтой-то, дяинька?.. томно мне.

Я шагнул к ней и обнял ее. Она уткнулась головой в тулуп мой.

— Не бойся, дитя. Они не сделают нам больно. Не мы им нужны, а они нам. Для чего-то важного они тут крутятся.

— Нет, дяинька! Давайте я вас-то укурю. Упасу! Мозить, пурга зацнетси. И нас погребеть!

Пурга, да, пурга. Я растревожился не на шутку. Если тут пурга начнется, и вправду быстро заметет, погибнешь.

Ветер усиливался. Небо наливалось кровью.

— В избу пойдём?! К тебе?!

Я пытался перекричать ветер.

— Нетути! В обыденку!

— Что это?!

— Да храмина нася!

Уже пуржило. Овца, баран, коза и козел с трудом пробирались в снегу. Мы вязли в сугробах. Вдали замаячила крошечная, как овечий хвост, деревянная часовенка. Подбрели, уже самими собою, телами нашими проламывая путь в толще снега. Девочка толкнула дверь, первыми вбежали животные, потом вошла она, потом, нагнувшись низко, в малюсенькую дверь вошел я. Вой ветра утих. Мы стояли в укывище. Маленький дом Бога. Я огляделся. На срубовых стенах иконки. Самодельные; вижу, не богомазы малевали, а местные жители. Кто во что горазд. На бересте вырезали. На досках яйцом писали, битым кирпичом, рябиновым соком. Одну приметил. Подошел. На меня с маленького дощатого квадрата глядел Спас в Силах.

Он так глядел в меня, внутрь меня: душу вынимал.

Душу. Мою.

Я сбросил с плеча на дощатый пол мешок.

— А цо у тя един глазынек, дяинька?

— Выбили.

— А поись-то у тя есь, дяинька?

— Нет, душенька. Ничего в дорогу не взял. Надеялся, покормят по пути. Люди сердобольные.

— Ахти!.. А и я с утретка не емси.

— Водичка вот есть.

Я наклонился и развязал тесемки мешка.

И остолбенел.

Мешок был полон вкуснейшей пищи.

Я про такую забыл.

Яркие помидоры, золотые лимоны, куски жареной красной рыбы в маленькой корзине из краснотала, спелая морошка в туюске, калитки с вареньем, в стеклянной банке алая лососевая икра, и ложка золотая, витая в той банке торчит, вроде как бери и ешь, а ложка-то витою ручкой да святою позолотой лжицу Причастную напоминает; пышный пирог, и пахнет зеленым луком, и вокруг него маленькие румяные пирожки, пахнут грибами, солеными огурцами, мясом; соленые грузди в фаянсовой миске, жареная кура, завернутая в вощеную бумагу; и хлеб, хлеб, я давненько такого не едал, нежный, еще теплый, круглый ситный и рядом желто-белый, сугробный калач, а дух такой, валит с ног; моченый чеснок, моченые яблоки, квашеная капуста, вяленая кумжа, вареные яйца, громадные, как серебряные слитки.

Надо было двигаться, говорить, дышать. А я не мог.

Чудо. Чудо.

— Чудо!

— Сто зе ты так-то оресь, дяинька...

Мы сели на пол часовенки рядом с мешком и стали вытаскивать из мешка яства. Козы и овцы печально смотрели на нас глазами-сливинами. Мы отщипывали от хлеба куски и протягивали им на ладони, и они ели. В дверь с воли зацарапались. Она распахнулась, пурга ворвалась в часовню. Вошел пес, большой, рыжий, с подобострастно поджатым хвостом. Повизгивал, юлил.

— Угрюм, дяинька, не боись. Угрюм, Угрюм! На-ко мясоцка!

Девочка отломала от жареной курицы крылышко и бросила псу. Пес жадно грыз.

А мы даже не знали, с чего начать.

Пир! Пир горой! Праздник!

После неволи, после ужасов всех!

Зачем это мне? Чем я заслужил?

Рука сама нашарила, я вытащил из мешка бутылку темного вина. Вязь наклейки гласила: КАГОРЪ.

Господи, причастное вино Твое. Пасхальное... вино...

Откупоривал дрожащими руками.

Я не верю! Не верю! А надо поверить.

Я не верю, но я верую, Господи.

И если это чудо Твое, кланяюсь Тебе за чудо, простираюсь на земле, пластаюсь на животе, плачу и смеюсь разом, молитву творю во славу Твою.

Во славу Богородицы; а девочка, девочка-то моя кто? С овцами...

— Пей!

Я протянул ей вино.

Она взяла бутылку обеими маленькими руками и сделала глоток. Щеки ее порозовели.

— Ух, баско!..

— Вот и чудесно.

Я отхлебнул вина. Радостью на меня пахнуло.

Что-то будет? Что, что же будет с нами?

Скажи, скажи, великий Бог, о том, о том... что будет... с нами...

Мы разломали большой пирог, и он оказался с зеленым луком и рублеными яйцами; вонзали не зубы в него — нашу новорожденную радость; Душенька моя лежала в земле, а мы тут с чужою девчонкой ели, наяривали изумительную еду человеческую, да мы тут с нею были просто небожители, так первые люди ели в Раю, а мы кто такие, разве такое возможно, да нет, чудо надо принимать таким, каково оно есть, не сомневаться в нем. Мы терзали курицу, ломали калач, кусали соленые огурцы, золотая лжица в наших пальцах дрожала, когда мы добывали ею красную икру из глубокой фаянсовой миски; мы руками, жирными, измазанными в соке черемши и в соке лимона, подносили жареную лососину близко к лицу, нюхали шумно, жадно, дерзко, шутя, хохоча, улыбаясь; эта улыбка во все лицо той пастушки, я ее никогда не забуду. Запивали снедь сладким вином, причащались, а исповедью перед этою трапезой в торчащей деревянным пальцем посреди тундры, забытой часовне была вся наша жизнь: у меня — многострадальная, у девчонки — маленькая, безгрешная. Да какие грехи успела совершить она? У бабки шерстяной клубок ukrала, варежки связать, да на кухне у мамки тарелку разбила дорогую, тятенька с поморской ярмарки привез, пыль с нее сдували, с фарфоровой, заморской. Ну, свечу не всякую ночь перед образом жгла, Богородице не молилась. Вот и все грехи.

А я... а я... у меня же не счесть грехов... не счесть...

— Дяинька! — В одной руке пирожок с грибами, в другой помидор свежий, только с грядки. Ест и облизывается. — А само цюдно на землячке — ество?

Я сидел, ел, в одной руке кусок красной рыбы, в другой соленый огурец.

— Еда, да, дитятко, одно из чудес, чудо насущное, повседневное, мы сами себе его каждый день творим.

— Дяинька! — Большой глоток из бутылки сделала. — А хтой-то нам цюдесеньки-то исделал?

Я видел, захмелела. Ребенок ведь.

Ей надо объяснить попросту. По-родному. На языке ее Мира.

— Мы с тобою где сейчас?

— Как игде? В обыденке.

— В святой часовне, да.

— И стадо туточки!

— А ты знаешь, что во храме Божиим совершаются чудеса?

— Да ну ты! Иди ты!

Она хохотала и хотела еще пить вино, но я отобрал у нее бутыль.

— Хватит. Ешь только. На здоровье чтобы. Девочке вина много нельзя. Слушай вот лучше. Чудо сам Бог. Он творил с людьми чудеса и сейчас творит. Вот мы сюда пришли. Скрылись от пурги. Бог нам угощение поднес.

— А мозить, Богородица.

— Такое может быть. Помолимся.

Я оставил еду, встал на колени перед Спасом в Силах и стал молиться.

Девочка послушно, ни слова не понимая, повторяла благодарственную молитву за мной.

Потом овца, баран, козел, коза и пес легли на доски часовни, растянулись, и мы легли, и положили головы наши на бока, спины и ноги животных; и так уснули, сладко спали, чисто, радостно, без сновидений, тепло, нежно, обнимая лохматых, кудлатых родных зверей, нюхая мокрую славную шерсть, перебирая в шерсти пальцами, осязая счастье, предвкушая иной праздник. Звери охали и стонали во сне, как люди. Дрыгали ногами, пес сучил лапами. Остро и сильно пахло козлом; нежно, чисто и раняще, просяще и смиренно — овцою; свет все мощнее разгорался в щелях деревянной храмины, источали свет самопальные образа,

Сквозь щели часовни стал пробиваться свет.

— Пойдем-ка на воздух! Пурга наверняка утихла!

— Подемо, дянька.

Мы оторвали головы от теплой, спутанной шерсти спящих зверей, поднялись, отряхнулись, переглянулись весело, взяли за руки и вышли на вольную волю.

Не верил я глазам моим.

Мы очутились в Раю.

Белый плат тундры обратился в слепяще-зеленый ковер, сплошь вышитый алмазами утренней росы. Посреди райской длинной, водорослевой, колышущейся на ветру травы возвышались райские деревья: висели на ветвях золотые, румяные яблоки, мандарины зрели, наливались золотом, мигали крупными сердоликами во тьме изумрудной листвы. Ветер играл листьями, листья шептались меж собой, трава шелестела, и в траве, Господи, кто спал, кто друг с дружкой играл, по разнотравью катался и валялся, кто навстречу нам брел, кто перепархивал с ветки на ветку, царило, рычало, клетотало, залиvisto, самозабвенно пело все Живое. Медленно шли, осторожно, тихо, важно поднимая хищные лапы, золотые львы, играя хвостами; медленно бродили, в траву валились, улыбаясь и вываливая наждачные языки, волки, и серо-желтые шкуры их воинственно топорщились и сверкали на солнце тысячью искр. Да! Солнце! Солнце!

Солнце испускало мощнейшие лучи, они вставали вокруг слепящего диска неснимаемой короной; желтая родная звезда лила лучи наземь белым, золотым молоком, молоко застывало, солнечные сливки замерзали и лежали в густой темно-малахитовой траве драгоценными слитками. Все было драгоценность, а солнце — наипервейшее

сокровище. Лежало оно в самой глубине синего небесного сундука! Распахнут сундук, и всем видать золотое счастье! Рай, ты счастье! Вдыхаем Райский Сад! Будоражат и утешают его ароматы, катятся к ногам его золотые цитрусы, и вот, вот оно, беспечное, веселое яблоко. С того самого древа? Да, с того.

Я крепче сжал руку девочки. Ее ладошка затрепыхалась в моей руке. Столько людей я разрезал на части, а вот все никак не привыкну к трепету живой плоти.

Душа! Где ты, где ты, Душа!

— Что, милая?..

— Дяинька!.. спим ли!.. цо такое!..

— Рай...

Я скинул сапоги. Девочка скинула валенки. Опять взялись за руки и босиком пошли по Райской траве.

Зеленые стрелы, длинные зеленые змеи обвивали, ласкали наши босые ноги. Я пальцами, стопами, пятками целовал землю Рая. Сподобился! Ну, девчонка-то ладно. Она безгрешная. Ей положено. А я тут при чем? Душе, Душе моя, восстани, что спиши!

Вошли под сень деревьев, под могучие раскидистые кроны. Неведомые заморские плоды качались, вспыхивали, таяли. Ничего этого нет: сейчас пройдем Рай насквозь, и исчезнет он. А может, переселится, перелетит по синим небесам в Иной Мирь.

Обогнули толстый, в три обхвата, ствол. Резные листья шуршали вверху, пели над нами песню ветра. В траву упало огромное яблоко. Я еле поднял его. Наливное, бока желтые, красные полосы, будто кто кровавой пятерней провел. Изнутри сочится тихий свет, будто там, внутри яблока, свеча горит.

Держал на ладонях. Девочка глядела зачарованно.

— Оей, дяинька... Тонь баско...

И это я, я сам протянул ей яблоко.

И ела она.

Откусила смачно, резко, весело острыми, лисьими зубками. Жевала. Зажмурилась от радости.

— Ух!.. Сладко...

Протянула мне надкусанное яблоко, и я ел.

Сладкий терпкий сок пролился в глотку, пьянил не хуже вина.

Там, в Мире Иномъ, нами брошенном, в покосившейся на ветру деревянной часовой не сама собою отворилась дверь, и все домашние звери вышли вон, таращились на сияние Рая, на мандарины в зелено-угольной, глянцевой листве, на вьющиеся по ветру водяные, болотные волосья травы.

Я понял: есть Мирь и Мирь. Их два. А может, и побольше. Нам не все показывают. Рай, я увидел тебя при жизни, Рай; есть ли то знак, обязан ли я его прочитать? Запомнить?

Истолковать?

Но девочка... девочка...

Лица, лица, лица толклись незримой мошкарюю близ меня, вокруг девочки, летали, окружали призрачной тучей, морозящей слезной стеною, валящим из мрака снегом, а небо над нами так ясно синело, ни признака бури, ни намек на снег, пурга сгнула, непогода умерла, мы шли по Раю, а зверье наше шло за нами, и лица наши летели за нами, и опять девочка видела их, и пугалась, и жалась ко мне, утыкалась лицом мне в тулуп, я расстегнул тулуп, жарко стало, бросил на траву.

— Сядем... отдохнем... в Раю...

Тулуп глядел в небеса всеми волосьями овечьей потрепанной шкуры. Шевелился, как живой. Мы сели на шкуру; когда-то она была живою овцой, бегала, щипала тра-

ву, кричала тоскливо в загоне. Девочка опять грызла живое яблоко. Она не боялась его есть. Рядом со мной она ничего не боялась. Даже реющих в воздухе над нами чужих, перламутром плывущих лиц.

- Дяинька... то архангелы...
 - Херувимы да Серафимы, душенька.
- Я все ждал, когда сон оборвется.

<...> Я шел и шел, и на меня из пустоты обрушивался целый отряд, война в разгаре, а я иду, ноги идут, ноги идут, я не могу остановиться, я должен победить, я, одноглазый, худой, нищий, бездомный, и лечить уже не могу, и служить во храме уже не буду, могу только молиться, в пустыне, в тундре, в погибельной тайге, среди зверей и птиц, а люди бывают хуже зверей, я теперь знаю это, да что толку знать; надо любить, вот счастье — любить, даже если за любовь в лицо тебе плюнут. Они скакали, бежали ко мне, они целились в меня, они расстреливали одного меня, гудели машины, ржали лошади, звучали, схлестываясь, страшные проклятия, а пули летели мимо, а лошади мимо скакали, спотыкались и на землю ребрастыми боками валились; а реки текли, полные крови, кровь била в берега, и люди, спасаясь от возмездия, бросались в кровь, спасались вплавь, уходя от пуль, гранат, огня, ножей и сабель. Переплывали красную реку — а на том берегу ждали сабли, ножи, огонь, гранаты и пули. Острия и разрывы! Война, она идет! Она и не кончалась. Душа моя, ты видишь? Ты все видишь! Что остановит войну? Победа? Но ведь победа — на время. Пройдет Время, и победа проживет жизнь, ей назначенную, и умрет. И люди больше не смогут идти вперед. Их, как овец и коз, хворостиной погонят назад. В стойло.

Я шел и шел, и видел я в разных местах земли, то в домах, сквозь открытые двери и окна, то на улице, на свежем воздухе, на ветру, на горах и в лесах, во сугробах и в песках, на песчаных берегах рек и в разнотравных лугах, сидящих на табуретах и стульях, а то просто на березовых бревнах, на сваленных старых дубах в три обхвата, спокойных молчаливых прях; они молчали и пряли шерсть, пряли светлые и темные нити, нити тянулись, как живые жилы тянутся по рукам и ногам, нити были сами жизни, и одна из нитей, что неведомая Арахна старательно и ловко вытягивала из комка овечьей шерсти, из густого теплого руна, была моя жизнь; пряхи не смотрели на меня, не оборачивались ко мне, они не видели меня, они не видели друг друга, они видели только шерсть, только нить, только пряжу, только круговерть веретена. И я наблюдал их труд издали; мне хотелось встать перед ними на колени, до того эта работа озаряла меня изнутри переливами полночного Сияния, его синими стрелами, алыми вспышками и зеленым мерцающим шелком, и я понимал: женщина прядет, тклет и вяжет мужскую судьбу, детскую судьбу и всеобщую судьбу, и судьбу Мира тклет она, безымянная, молчаливая пряха. Я молился за прях. Мысли мои и слезы мои текли бесконечными, тянущимися из хаоса в Космос нитями.

Я шел и шел, и все сильнее билось сердце во мне, и все горячее я думал про него, про то, как дух мой незаметно и верно становится моим сердцем. Как мысли входят в сердце? Как там живут? Где мысли рождаются? Мыслит мозг или же мыслит нечто иное, чему внутри человека имени нет? Василий Великий и инок Каллист, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст называли это иное духом; да ведь и Господь говорил про Дух, и как он ведет вперед человека. Шел ли я сам, или Дух Святой, Параклет Утешитель, меня вел? Двигательные центры, тепловые, дыхательные, вазомоторные, мы знаем, где они находятся в мозгу; но великой тайной остаются центры, где рождается чувство. Где рождается радость? Горе? Ужас? Печаль? Молитва? Работою клеток можно объяснить все. Да не получается. Мы объясняем ощущения. А сердце и Дух рабо-

тают иначе. Сердце, плавильная печь. Плавится в нем и становится жидкой и ослепительной крепчайшая сталь судьбы, воли. Сердце, безумно бьющийся, оплетенный красными волокнами и алыми хвощами кувшин, амфора столетий, больная, бедная живая чаша, крепкий кулак, он сжимается и разжимается, и все никак не ударит, ибо не бить он хочет, а любить. Сердце рождено любить. Зачем мы посылаем его воевать? Но если не оно победит, так кто же?

Я шел и шел, и открывался мне секрет победы: зерно погибает, уходит в землю, прорастает, воскресает Бог. Бога убили — а Он победил. Ты идешь назад — а назад, как вперед. Тебя окружают со всех сторон — а ты взовьешься и полетишь. Твой полет! Твой народ! Я шел и шел и видел мой народ, любимый, до слезы родной, и мой народ шел по земле со мной, рядом, впереди и сзади меня, справа и слева, надо мной и подо мной, везде шел, неизбежно шел, и это не он со мной шел, а я с ним шел, я шел его дорогой, повторял его слово, пел его песню, веровал его верой, умирал его смертью.

Воскресал его Воскресением.

Я шел и шел и уже не знал, как меня зовут, ведь я сражался со всеми, с кем суждено мне было сразиться, я нападал сам, не ждал, когда на меня набросятся, ибо сзади и впереди, с боков и в небесах, под землей и среди звезд со мною шел Господь мой.

ГЛЯДИ Я ВЕЗДЕ ИДИ ЗА МНОЙ НЕ БРОСАЙ МЕНЯ

Господи, нет! Господи, я с Тобой! Навсегда!

ГЛУМЯТСЯ НАД ТОБОЙ СМЕЮТСЯ НАД ТОБОЙ ГОНЯТ ТЕБЯ УБИВАЮТ ТЕБЯ
А ТЫ ИДИ ЗА МНОЙ

Иду, Господи!

НАКИНУТ НА ШЕЮ ПЕТЛЮ ПОСЛЕДНИМ ДЫХАНЬЕМ МЕНЯ ВОСХВАЛИ

Последний выдох мой Тебе, Господи.

ФРЕСКА ЧЕТВЕРТАЯ. ЗАПАДНАЯ СТЕНА

АЛЕКСЕЙ

<...> Я стоял в руинах храма, и озирался, и видел пустоту и ничто.

Лица, лица, лица заслоняли от глаз моих взорванные стены, разбитую конху, паруса и барабаны. Лица хотели меня взять к себе. Погодите, милые, еще приду. Недолго ждать.

Здесь, здесь собор. Последний собор. Стою, и надо служить. Кто мне сослужит? Кто сойдет со стены?

Я обернулся и посмотрел на западную стену. Она была сохранена Богом и Временем. Ушанка упала с моей головы.

С нагою головой я стоял, и котомка, жадно раскрывшая холщовый рот, валялась у ног. Я глядел на то, на что глядеть смертному было нельзя.

Вот, я видел последнее бытие.

Оно явилось.

Оно, в страшных муках, родилось из чрева Времени, так долго беременного нами.

...Вихрь поднимал и нес вдаль тела. Они сталкивались, вращались; бились по небесному ветру нищие и роскошные одеяния, расшитые смарагдами шелка и затрапезные тряпицы; бархат и ветхая рогожа разрывались, внезапно раздирались надвое, натрое, на множество лоскутов, и в дырах, в разорванных тканях вспыхивали тела

людей, тесто их плоти, их животы и груди, ноги и руки, шеи и ключицы, они валились вниз, опять взлетали высоко, взмывали в зенит, летели завитками дыма от рыбацкого ночного костра, и вселенский ветер раздувал клочья безвременного дыма, уносил безвозвратно: летели и новорожденные дети, еще в крови и родильной смазке, могучим ветром выброшенные из бедных зыбков, и голые возлюбленные, что сцепились, слились тесней, чем икринки в брюхе сумасшедшей, на нересте, рыбы, в умалишенном последнем, огнем пылающем объятии, и тяжелые бабы, они орали недуром, летели, задравши ноги, животы их торчали подобно заснеженным холмам во полях, в отчаянии они вцеплялись пальцами-крючьями, клали дрожащие потные ладони на раздувшиеся без меры животы, и беспомощные старцы, нагие, в улыбке челюсти голые, без единого зуба, щеки в морщинах, висят, собачьи брылы, колючая серебряная щетина предсмертной щеткой топорщится, больные колени не сгибаются, мелко дрожат, и дядьки под хмельком, крепкие, мрачные, плечи шире оглобли, избычась, глядят исподлобья, железными шарами перекатываются под кожей задиристые мышцы, а хищный мрак наполняет темным вином радужки будущих убийц; тут летели и владыки в красных атласах и золотых коронах, зубцами сходных с крестьянскими граблями, сжимали в ладонях башню скипетра и круглую землю державы, слепящие лучи веерами расходились от парчи, расшитой кровью и золотой нитью, от горностаевых шкур, накинутах на царственные плечи, пестрящих мертвыми лапами и черными, на снеговой белизне, запятыми мертвых хвостов, и владычицы в жемчужных ожерельях, в лазуритовых серьгах, заря их широких, на пол-Мира, улыбок мгновенно обращалась в уродство неудержной паники и смертной боли; и земледельцы, обнимающие связки моркови и грязную картошку, несущие за пазухой огурцы и яблоки, и видны были плоды великой земли сквозь их расстегнутые, перепачканные землей рубахи, и незримый нож разрезал фрукты, овощи и ягоды, и лился живой сок, сладкий, горький, капли падали вниз, на мощные полночные сугробы и черную весеннюю пашню, на солому темно молчащих, нищих изб, на грязь проселочных дорог и метельное бездорожье; и площадные попрошайки, они летели и на лету курили, торчали жалкие окурки, с мостовой подобранные, в углах их губ, в зубах с грозовой молнией фиксы, они летели и резались в картишки, и ветер вырывал карты у них из пьяных рук, и летели карты по ветру, по всеобщему безумию, по осени последней; и ребятишки летели, вихрились и клубились, кувыркались во льдах иглистых звезд, подскакивали, вертелись юлой, катились колесом, раскатывались свеклой и репой, и мальчишки свистели оглушительно, скаля беспризорные рты, кулаками махали, чая крепко ударить незримого супостата, а то и одним сильным ударом убить его, навсегда умертвить, а девчонки тянули тонкие ручонки, раскрывая, как птенцы в гнезде, вопящие страхом рты, желая вцепиться в обод нефтяного облака, в пучок горькой травы, ветром вырванной из стонущей земли и ветром гонимой по небу в никуда, — а ветер не утихал, не умирал, юродивый ветер нес безумных людей, и одетых и голых, все дальше, дальше в широкие небеса, и нещадно, неутомимо катились в ночь живые полоумные колесницы, и небесные шестеренки, зубцы, ножи и маховики перемалывали Живое, сдирая с тел роскошь царских мантий и последние жалкие тряпки; и вот, видел я воочию, нищая холстина сползала с плеч, и, цепляясь за голые плечи и груди, трясушимися руками прикрывая в ужасе срам, люди летели, крепко смыкали веки, чтобы не видеть ужас в лицо, орали, вопили, хрипели, плакали, смеялись без ума, летели, летели, летели, нагие, в пустоту, крутились над сурово молчащей внизу землей, обращались в единую голую бурю, в один блаженный нагой ветер, в ловчую сеть последнего урагана, в бешеный раструб пылающей смерти.

И я стоял, задрав башку мою, и зрел, недостойный иерей: летят! Летят! Летят люди, да, летит мой озверелый, отчаянный Мирь! Летят во дне, летят в ночи, летят над торжи-

щем в лучах рассвета! Летят над последним сражением, где мы утонем в криках и крови! Летят над колючею проволокой, над белым медвежьим морем, над моим навсегда разрушенным храмом! Над ледяным, древним черепом святого камня! Летят приговоренно и стремглав, катясь по небесам, раскинув руки-ноги, колесами вращаясь, и не остановить, срок пришел, час назначенный пробил, вырвался из нутра последний страшный вопль; вот явился Господь судить нас и подъял нас всех, грешных, высоко в небеса, а земля-то, она уже далеко, она уже катится прочь от нас, не поймать, не забыть, — и сотворил Господь так, чтобы поднялся и окреп громадный ветер, гневный вихрь, и сорвал с нас одежонку, как утлый стыд, и сорвал с нас ложь, как последнюю боль; и узрел Господь, какие мы бедные, слабые, жалкие, горькие, полынные, как все мы похожи, едины в несчастном умалишенье нашем, в блаженстве нашем и в отчаянном общем вопле нашем — слуги, лакеи, владыки, нищие, разбойники, распутницы, монахи, нежные младенцы, изморщенные старцы: для всех нас одна была наша судьба, одно наше счастье и одно горе. Не накормишь ты грудью, Душа моя, последним голодом голодную жизнь. И не отвращу я лица моего, Господи, от великого последнего, в небесах, полета земного, страдального, земляного народа Твоего!

Вот мы! Летим! Зри! Любишься!

Конец Света ведь лишь раз увидишь!

<...> И прижалось к земле солнце, повинно выходя на холодный небосклон. И видело солнце сгоревшую в огне землю, и прижались к Богу, горько и безмолвно сидящему на небесном троне Его, деды и внуки, матери и дочери, отцы и сыновья. Лица, лица, лица летели вокруг Бога и мимо Него, вихрились, вспыхивали, пылали. Плакали бедные праведники, видя сверху погибшую землю; и нельзя было в пепле отыскать выживших, и найти Души Живые и Мертвые, ибо смешалось все в едином небесном котле и рассыпалось на тысячу горьких огней.

Солнце медленно всходило над тундрой, озаряя руины и снега, охотничьи тропы и рыбацьи перевернутые обгорелые лодки, белый атлас сугробов, красоту утра и уродство пепелища, счастье и ужас, боль и надежду, кровь и оружие, Мирь и войну.

Беспощадно, лучами прожигая до костей, солнце осветило старика, лежащего внутри взорванной заброшенной церкви; руки раскинуты, ноги разбросаны по каменным плитам, будто бежит, убегает вдаль, туда, где не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, а только жизнь бесконечная. Ветер поднимал и тихо колыхал в снежных утренних сумерках его длинную сивую бороду. Еще лучи осветили старый холщовый мешок, торчащую из него солдатскую жестяную флягу, выкрашенную краской цвета хаки, иззелена-медный, крупный крест на груди, в распахе рубахи, на суровом гайтане. Еще ласково, медленно ходили тонкие лучи по стенам, на коих тускло, робко пробиваясь сквозь расколы, выбоины, слои осыпавшейся известки и людской жестокости, тихо, нежно горели старые фрески. Фигуры летели над землей, золотые нимбы сияли над головами. Прокопченные, цвета уже не разобрать, плащи, затянутые забытой гарью темные скорбные лица освещало тихое сусальное золото. Это катились над черной землей золотые планеты. Жалели ее. Крестили ее. Плакали над ней.

Угас Конец Света.

Начался новый свет, новое небо и новая земля.

Они нашли меня не знаю как. Но нашли.

С собаками, без собак, все равно.

Я сам поставил знак равенства между собой и Миромь.

Если я емь Мирь, меня уже никто не сожжет, кроме Бога.

Девочка моя, чудненькая, ласковая, светлая, а потом меня били. Что плачешь? Не плачь. Мне разбили снова лицо мое, лицо, лицо в кровь. И сильно ударили меня в другой глаз, вспухло подглазье, Время шло, ползло и летело, а все не рассасывалась гематома; я уже думал, осумкуется, а потом воспалится, а потом абсцесс, а глаз ведь входит в лицевой треугольник смерти, это мы так, хирурги, область лица называем, где если что воспалится, так гной летит с током крови сразу в мозг. И поминай тебя как звали. Нет, абсцесс не возник, зато от ушиба стала стремительно развиваться глаукома; а она неоперабельна, дитяtko, нет, ее уж никак нельзя взрезать и выпотрошить.

А еще люди меня били, били и разбили мне левое плечо, оно раскололось внутри меня на части, и я знал: надо обложить плечо гипсом и так долго ходить, таскать гипс месяца три, четыре, а то и полгода, тогда заживет. Гипс мне, конечно, никакой накладывать на перелом не стали, никто меня в родной лазарет не отвел, чтобы лечением утешить. Спросишь, а где же прятался мой демон, мой напарник, мой соперник, мой горемычный, военврач мой, узник, как и я же, доктор Николай? Где скрывался от меня?

Меня сперва, после того, как крепко избili, бросили не в барак, а в пустой холодный, нищий, громадный собор, он стоял ближе всего к воде. Там на всех четырех стенах, на северной, южной, западной и восточной, не мерцали никакие фрески. Их все давно сбили-сколотили молотками, содрали мастерками и финскими ножами. Только на одной, восточной стене, там, где раньше находился алтарь, просвечивала одна фигура. Единственный мой глаз затягивался левой глаукомы, и я не мог ее хорошенько разглядеть. Но подходил близко и водил по росписи бедными глазами, одним вытекшим, другим тающим, как лед по весне, пытаюсь различить, кто там намалеван. Изображение, дитя, самое важное зеркало. Тебя, не зная тебя, рисовал художник. Он рисовал тебя не здесь и сейчас, а таким, каким ты, человеке, будешь через тридцать лет, если жив будешь; через сто лет, когда помрешь и косточки твои в земле сырой сгниют; через тысячу лет, когда на камне, где застыл твой бедный лик, и отпечатка от тебя не останется.

Мне казалось, я узнавал на обшарпанной стене Богоматерь в алом хитоне и небесном плаще.

А может, это глядела на меня Мария Магдалина в синем хитоне и в кровавом плаще, не знаю.

Краски мешались, стена кренилась, глаз косил, я падал, пьяный от созерцания Святого.

Святая Святых! Пустой Распятский собор на берегу, до смертной белизны омытый дождями и посеченный снегами, как кости динозавра, только и ждал меня. И вот я пришел. И я, дитяtko, проповедовал в том соборе — для кого, и сам не знал, никто меня не слушал. Я говорил, говорил, говорил и сам слушал мой голос; голос звучал хрипло, тяжело, как у смертельно раненного, и сам себе казался я ожившим ружьем, бряцающим прикладом.

Охранники являлись каждое утро, выхватывали из толпы, спящей вповалку, жертвенных агнцев. Люди вопили, рыдали, не хотели идти на смерть. Их гнали взащей. Мы слышали выстрелы. Я накладывал на себя крестное знамение. Люди матерились, многие дрожали и обнимались. Прощались. Детонька, сколько же раз человек прощается с человеком на земле! И когда отъезжает в далекие края, и когда сильно хворает, и когда разлучается в любви, и когда умирает. Всюду разлука. На каждом шагу. Вот ты скажи, ты уже прощалась с кем-нибудь? А я ведь скоро буду с тобой прощаться, радость моя. Час мой близок.

Да и час всея земли близок. Помни это. Не страшись.

Прощание — это молитва. Самая тихая, самая тайная. Самая горестная. Ты ведь больше никогда не увидишь того, кого целуешь перед разлукой. Разлука большая, разлука океанская; разлука глядит волчьей мордой, переливается Сиянием, бьет в лицо тебе вьюгой. Перейди разлуку. По воде, аки посуху. Будет встреча. Ты вернешься домой. Я тебе обещаю.

Я лежал в Распятском соборе, говорил-говорил и умолк, проповедь мою слушал маленький лемминг, он приполз в храм в поисках съестного. Я скорчился, скрючился так, чтобы во всем походить на зверька. Я тоже маленький, и я тоже голодный, и мне дом тундра, и я показываю зверьку зубы и мелко-мелко стучу зубами: гляди, лемминг, я это ты, а ты это я, я твое зеркало, и тоже хочу есть, а не дают. Лемминг смешно дергал крошечным носом. Я неотрывно смотрел на него. Вот кто понял бы мою проповедь. Лемминг, ты не ранен? Могу тебя перевязать. Нарезать осокой полосок из моей кожи. И заштопать твою.

Тут услышал я: топ-топ, топ-топ, кто-то приближался ко мне. Перешагивал через людские, еще живые бревна. Топ, топ, топ. Встал. Я сначала увидел сапоги. Хорошие, добротные, щедро смазанные ваксой сапоги. Сквозь туман перевел я выше, выше одинокий глаз. Мутно и смутно качался передо мной человек. Шуба растегнута. Под шубою белый халат.

Лемминг порскнул прочь. Я разогнул спину. Лег на спину, глядел одним глазом вверх. Человек протянул мне руку.

— Алексей. Это ты. Вставай.

Я руки ему не подавал. Лежал и смотрел.

Пальцы над моей головой согнулись и разогнулись.

— Ну что ты. Встань.

Он наклонился, и сам схватил мою руку, и стал тянуть меня вверх, мол, давай, шевелись.

И я не стал его отвергать. Драться с ним, как встарь. Нечем драться было. Выпило горе силы. И мое, и общее.

Уцепился я за его руку, он с натугой поднял меня с каменных плит собора.

Мы стояли рядом, голова к голове. Я пошатывался.

Мои круглые очки давным-давно сбил чужой кулак с моего носа, они откатились в яму памяти, потерялись в густом снегу. Зачем мне теперь очки?

Половина лица врача Николая была закрыта белой марлевой маской. Сто раз кипятили бедную марлю. Разлезается на глазах.

И я не знал, улыбается он мне, скалится зло, или сложен его рот в неудержном рыданье.

— Алексей. Я тебя нашел.

— Спасибо.

Солнце пригревало. Снаружи звенела капель, скатывалась вода с дырявой крыши собора, я слышал звон. Он теперь вместо колокольного. Умерший храм — зеркало. Он отражает бессильную злобу заблудившихся во Времени людей.

— Что спасибо. Идем отсюда.

Мы пошли к разбитым дверям, и он поддерживал меня за локоть.

И я не сопротивлялся.

Мы шли по снегу, по солнцу, по небу. Наст хрустел и проседал под ногами. Шаг, еще шаг. Мне шаги давались с трудом. Я отражался везде. Я был всюду. Я видел иным, неземным зрением, вроде как сверху: вот идут по снегу двое мужчин, один старик, другой молодой, а ведь ровесники. Когда молод ты был, ходил ты свободно везде, куда

хотел, и сам препоясывался, и ел и пил, что сам желал. Когда состаришься ты, тебя чужие руки препояшут, и в рот тебе будут толкать, чего ты не желаешь ничуть, и поведут тебя туда, куда не хочешь ты. Так сказано в Писании.

Он привел меня не в дом. Не в барак. Не на берег моря.

Он привел меня в лазарет.

Мы медленно поднялись по лестнице наверх, Николай взял меня за руку и ввел в нашу операционную, и я осторожно, будто в операционной волки сидели, переступил порог.

Я просто боялся споткнуться и упасть.

Николай подвел меня к столу и усадил на табурет.

— Алексей. Слышишь. Я сохранил все твои инструменты. Они теперь мои. Я ими оперирую. Я вырос, ты знаешь. Правда. Умею то, чего раньше не умел. Это тебе спасибо.

— За что?

— Ты меня научил.

— Это я учился у тебя. Ты смелый. А я задумчивый. Медленный. Я всегда уповал на Бога.

— Послушай. Я хочу тебе сказать.

Замолк. Отошел в сторону. Я слышал, он гремит стекляшками и железяками.

Подошел.

— Это без градусов нельзя. Вот спирт, вот вода. Давай, как настоящие хирурги. По-нашему. Я без спирта не смогу.

Я видел сквозь слезный туман, как он разливает спирт по мензуркам, разбавляет водой из пузатого графина.

Ждать я не стал.

— Такое страшное? Давай. Не боюсь.

— А чего тебе сейчас-то бояться. Перебоялся уже.

Он втиснул мне в пальцы мензурку. Она льдом обожгла мне ладонь.

Взял свою.

Лица, лица, лица полетели между нами. Души Живыя.

Простите, родные, не успел я вас всех собрать в мою котому.

— Умер твой сын.

— Твой...

— Пусть мой. Не смог без матери. Не выжил. Скажи молитву твою, как это там у вас, зауспокойную.

Я глядел на мензурку в моей руке. Глаз различал хрустальную белизну жидкости в сосуде, а вот риски на мензурке уже не различал.

— Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни... Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего, чадо мое Алексия, и сотвори ему вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие! Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене... Буди благословенно имя Твое, Господи.

Я выпил. Выпил и он.

Спирт глотку обжег.

Отдышались.

У меня с ветхих валенок тек на пол растаявший снег.

— Вот так-то.

— Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего Алексия, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Николай следил, как я крещусь.

И тут, дитя мое, произошло странное.

Не мог я объяснить тогда, да и теперь не могу.

Бог то ведает.

Врач Николай поднялся с табурета и встал передо мной на колени.

Закинув лицо, будто к небу, глядел на меня.

— Окрести меня, пожалуйста. Пока ты еще... пока твоя рука... и твой глаз...

Он был прав. Рука моя еще двигалась, и глаз мой еще видел.

— Хорошо. Пойдем на берег.

— Сейчас?

— А медлить зачем.

В виду ледяного моря я совершил обряд крещения над рабом Божиим Николаем. День был ясный. Солнышко повернуло на весну. Скоро прилетит ширококрылой чайкою тундровое суровое лето, и солнце будет гореть над Мiромъ неугасимой лампадой. Человек с Востока и человек с Запада встретятся грудь на грудь. Войска пробьют небо, пойдут через горы, воды и снега. Виновных накажет безжалостный хлыст. Явится гроза людей и оживит преисподнюю. Новые вожди произнесут с высоких трибун новые речи. Старые газеты сожгут в печи, и люди будут жить без газет, перекидываясь мыслями. Зарядят дожди, и будут идти так долго, что начнется новый потоп. Растают все льды в океане, он хлынет на сушу людскими слезами и затопит дома и сердца. Молоко, кровь и лягушки низвергнутся с небес. Снова придет чума, и я, врач, буду ходить с маслом розы и мазать рты и ноздри зачумленных. Кто воскреснет, а кто умрет. В устьях рек случатся грандиозные кораблекрушения, а с неба упадут железные колесницы без колес, без руля и без ветрил. Братья будут сидеть за столом и пировать, и вдруг безумный гнев охватит их, и швырнут они в лица друг другу кружки с вином, и вытащат из-за пазухи ножи, и будут резать и колоть друг друга, затеяв жестокое сражение, и окрестные люди будут их разнимать, но бесполезно. Пожары станут пожирать жилища, и внутри каменных громад задохнутся и сгорят дети и старики. Тиран заучит наизусть письма святого. Войско, где тьма тем народу, будет освобождать осажденную крепость. Владыки Мiра будут мириться и ссориться опять. Люди будут умирать от таинственного удушья и рождаться с семью пальцами и двумя головами. Прогремят ужасающие морские битвы. Огонь пойдет по земле волной. Звери, птицы и гады сгорят в бешеном пламени, а люди побегут, стараясь его опередить. Взойдет в ночи огромная, как дом, звезда, разрастется и превратится в небесный город. Из тучи цвета смолы выйдет два солнца. Человек, как волк, будет выть в лесах. Собаки, кошки, куры и петухи вдосталь напьются крови, а убийца проникнет во дворец, взмахнет ножом, и назавтра властелина найдут мертвым близ его разметанной постели, и рану вдоль всего тела на нем. Высоко над угрюмым дворцом будет стоять днем и ночью страшная звезда, и у нее вырастет сверкающий павлиний хвост. Трое юношей будут не на жизнь, а на смерть драться за свободный престол. Змея величиной с кита выползет из моря на берег и будет пугать малых детей. Юродивый старик будет беззубо хохотать на берегу, наблюдая, как торжественно в зените парит белый орел, и увидит он, как налетит стая птиц и орла заклюет до крови, до смерти. Заплачет старик. Безумная царевна, тоненькая девочка, подойдет к старику и тихо его за руку возьмет. Скажет: не плачь, еще есть надежда.

Но это все еще будет, а сейчас есть берег моря, снег под солнцем, глядеть больно, какой резучий; даже мои глаза, и слепой и зрячий, ножами белый свет режет. Щурюсь. Стою. Пешней мы с Николаем разбили лед у кромки песка. Николай стоит босиком

на снегу, укрывшем сырой песок, раздетый догола. Я говорю святые слова, совершаю все, что нужно, все, что помню, ибо память моя дрожит и путается, и заранее я у Господа прощения попросил: прости, Жизнедавче, если что не так. Купель крещаемого — море. Елей мой в лазаретном пузырьке, у меня в руках, — растопленный тюлений жир. Крест на груди моей, вот, на гайтане. Николай стоит передо мной у самой воды, а я гляжу на восток, я уже помазал члены крещаемого елеем, он входит в воду, и я, босой, вхожу за ним, мы идем в воде, мы идем по воде, мы идем над водой, заходим в холодную светлую воду по колено, по грудь, дух захватывает, я кладу ладонь на темя Николаю.

— Крещается раб Божий Николай, во имя Отца, аминь.

Легонько нажимаю на голову крещаемого. Он приседает. Я давлю сильнее. Он погружается в море с головой. Я ослабляю нажим. Он пулей выскакивает из ледяной воды. Вода стекает по голому телу его серебряными струями.

— И Сына, аминь.

Опять нажимаю. Опять он ныряет вниз, в воду, с головой.

— И Святаго Духа, аминь.

Еще нырок. Еще течет и плачет вода.

Стоит человек на холоду, обтекает его ветер, обласкивает солнце чистыми лучами.

Бездвижно стоит. Слушает.

Холод терпит.

— Блажени, ихже оставишася беззакония... и ихже прикрывшася греси. Блажен муж, емуже не вменит Господь греха, ниже есть во устех его леств. Яко умолчах, обетшаша кости моя, от еже звати ми весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя... возвратихся на страсть... егда унзе ми терн. Беззаконие мое познах и греха моего не покрых, рех: исповем на мя беззаконие мое Господеви, и Ты оставил еси нечестие сердца моего.

Терпит непосильную работу. Терпит наготу. Терпит смерть жены и сына. Терпит далекую войну. Терпит голод. Терпит неизвестность. Терпит бесчестие. Терпит новое горе. Терпит все, что можно вытерпеть. Бог не дает страдания не по силам.

Не отвергнем страдание: оно дано нам как награда.

Я наклонился, поднял с тающего на солнце снега одежду Николая и протянул ему.

Он стал одеваться, дрожа на ветру.

— Облачается раб Божий Николай в ризу правды, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.

Оделся. Глядел на меня.

Я ни у кого, никогда, ни у одного человека не видел таких глаз.

И больше не увижу.

Никогда.

<...> Дитя мое, я часто слышу над собою голос Души моей. Она шепчет, я внимаю. Слова хорошо различаю. Вот недавно она сказала мне такое: война, любимый, да, злодейка. Но она же испытание нам. А испытания, ты всегда это говорил, посылает Бог. Вот я простая медицинская сестра. Сестра милосердия! Так называли нас давным-давно, так нас и сейчас называют и впредь будут так называть. Потому что выше милосердия нет ничего. Спасти живое! Надо еще дорасти до того, чтобы не убивать, а спасать. У нас на войне было так: ты врага спас, значит, ты сам враг! И убить тебя! И весь сказ! А что будет на будущей войне? Враг ранен, а ты наклоняешься над ним, и ты накладываешь ему на кровоточащую руку, ногу жгут, и ты бинтуешь его распавшееся осколком брюхо! Кто ты такая после этого, дрянь ты, а не сестра! Разве можно врага жалеть! Его надо убить!

И шепчет моя Душенька: врага — да, надо убить. А раненого человека — да, надо перевязать. Кто пленных пыгает, бьет, режет ножом, а кто пленных кормит-поит, рабы им йодом поливает, разговоры с ними ведет. О войне. О том, кто и почему ее начал. И почему мы войну убиваем войной.

Так говорит мне моя Душа, как несмышленьшу, повторяет: мы войну убиваем войной. Мы правы. Мы идем вперед. Победим. С верою и правдой.

И я шепчу ей: Душа моя!.. сим победиши.

А она-то слов таких и не знает, и не знала никогда, Душенька моя, из Священного Предания. Она простые слова знала. Хлеб, вода, море, песок, кровь, жизнь, смерть, любовь. Хочешь есть? Хочу спать. Устала! Щи крапивные будешь? Рана моя болит. А разве ты ранена, Душа? Еще как ранена! Я тебе только не говорила. Все некогда было. Я ушла на войну слишком юной. Я потеряла детство. Я, ребенок, уже воевала. И я солдата от смерти на поле боя спасала, на плащ-палатке в лазарет волокла, тяжело мне было, задыхалась, а тут меня и шлепнуло. Осколок! Да, я тебе не говорила, Алеша, милый, никогда не говорила и не хотела говорить, а теперь вот с небес говорю: здорово меня тогда накрыло! Боль адская. Осколок под ребро воткнулся. Кровища ручьем потекла! А я бойца на себе тащу. И он раненый, и я раненая. Думаю: а вдруг кто из нас умрет. Пусть я, так думаю о себе, пусть не он! Я себя на войне забывала, Алеша. Напрочь забывала! На войне — нет меня! И вот, смерть сама нашла меня. И тут же сжала зубы крепко, до боли, до искр перед глазами, и думаю так: нет, врешь, смерть, ты меня сейчас не возьмешь! Я еще послужу Родине моей! Жить буду! Спасать ребятишек буду! Вот солдата сейчас до лазарета — дотащу! И не охну! И тащу, обливаясь кровью. Дикая боль. Зубы так стискиваю, аж крошатся. И вдруг вижу себя и солдата на брезентухе будто бы издалека. С небес. И я вроде не я, а чистая вода. Теку рекой! Чистой такой, серебряной рекой. А боец вроде как в лодке лежит. Плащ-палатка обратилась в лодку. Плышет. И я ее, ту лодку, на себе качаю. Это как любовь. Странно так. Или это земля качается под нами. Алеша! Ты мне говорил, у тебя была жена и детки, ты от них ушел на войну. Что ты почувствовал тогда? Что война сильнее семьи? Что они и без тебя проживут? Где они теперь? Ты не знаешь? Вернее, знаешь, но сказать мне не хочешь? Боишься? Смерть любит молчание. Если они умерли, скажи тихо: в жизни есть только смерть; перекрестись и помолись за них. И я, как могу, слова молитвы за тобой повторю. Я молитв не знаю, Алешенька. Никто меня молиться не учил! Меня учили так: Бога нет! А вот ползу по кровавому полю, тащу на брезенте бойца и стала рекой, и хоть воду из меня пей, зачерпывай в пригоршню и пей, утоляй жажду, окунай лицо, умывайся, плачь, а я твоя синяя, чистая вода! Разве это не чудо! Чудо ведь, Алеша, чудо! Ну скажи, ведь чудо!

И я говорю Душе моей: чудо, Душа, чудо, самое настоящее чудо. Дотащила ты бойца тогда до лазарета? Она смеется, я с небес слышу: да, дотащила! Ко мне, вижу, люди бегут, а я уже сознание теряю. И успела только сказать: у солдата ранение в живот, полостное, быстро на стол, обработка, наложить швы, кетгута если нет, шейте рыболовной леской... и все, ничего не помню.

А еще я пела солдатам колыбельные! А еще я в атаку однажды взвод подняла! А еще я помогала тем, кому руку правую ампутировали, домой письма писать. А еще я утешала в ночи плачущих. А еще я кормила солдат моих с ложечки! Как детей! А еще я их всех помнила по именам! У каждого, у каждого я имя спрашивала! А у кого, кто постарше, и отчество. А они мне шептали: сестрица, у тебя в глазах солнечные лучи! У тебя в глазах небо синее! Небесной Сестрой меня звали. Да, так и звали! Вон, кричат, Небесная Сестра идет! А я тебе не говорила? Ах я, плохая! Забывчивая... Да нет, просто я стеснялась тебе себя хвалить! Зачем выхваляться! Ты и без того меня лю-

бишь. А я тебя с небес, как на войне моих раненых, сейчас утешаю! Утешаю лучами, утешаю синевой. Синевой обливаю! Синевой обнимаю! Ты же видишь, я в небесах над тобой рею! Я там живу и тебя жду! Я твой Рай. Ты во мне живи! Не умирай! И я тебя не забуду. Я тебя дождусь. Сколько угодно буду ждать. Так вышло, что я в драке нелепой, страшной погибла, как на войне, внутри взрыва, внутри ненависти. А родилась в любовь. Ты мой последний солдат, Алешенька! Ты мне Николая прости! А он пусть простит тебя! Давайте все простим друг друга! Простить — это самое лучшее на земле. Я навеки твоя сестра милосердия из твоего лазарета! Не забывай меня!

Дитя мое. Видишь, не могу говорить, слезами заливаюсь.

Так и шепчу ей: Душа моя, ну как я могу тебя забыть. Прости меня. Прости меня.

А синева какая за окном! А солнце какое!

Вижу сердцем весенний свет.

Подойди к окошку, детонька! Распахни створки! Пусть воздух войдет в палату, ветер.

Сим победиши, промолвил Евсевий Памфил, изъясняя нам жизнь римского царя Константина. Тогда, дитя, тоже была война. Царь увидел на небе крест. Предзнаменование. Знак победы. А я сердцем вижу только синеву.

Налетела бешеная весна, растворялись снега, как соль в кипятке, явилась Пасха Господня, и мы с Николаем целовались троекратно, как положено.

Вокруг нас празднично блестели стеклянные лазаретные шкафы.

— Христос воскрес!

— Воистину воскрес!

Серебряно горели скальпели и корнцанги в дымящемся контейнере: инструменты только что прокипятили.

Кипяток, всюду кипяток, свет обжигает, чифир обжигает, будто кипятком обдали мой теряющий зрение глаз, а пустая глазница болела неимоверно. Пойдет инфекция в мозг, кому мне исповедаться, если смерть меня пристигнет? Самому себе?

Мы день за днем лечили узников, они сами, горемычные, приходили. Кто не мог ходить, тех охрана расстреливала сразу. Не цацкалась.

— Николай, а я ведь побывал в Раю!

Он не смеялся.

— Верю.

— Знаешь... там изумрудная трава. И мандарины... такие золотые.

— Хотел бы я хоть одним глазком...

— Ты будешь в Раю. Обещаю.

Николай не знал Евангелия. Николай, милый друже мой! Врачу мой! Дисмас мой. Так все и будет.

Господь, не гневайся, не святотатец я, я не обижу Тебя.

Просто у каждого свой Гестас и свой Дисмас.

Ибо каждый распят бысть.

А Пасха для всех. Все воскресают.

Сын мой, Душа моя! Воскреснете и вы, любимые. Я просто не знаю когда. В какую земную, небесную Пасху.

В дверь просунулась голова юной санитарки.

— Гляньте, дохтура, как сонечко пылает! И лампы не надоть. Гляньте, внизе больной лезить! На брюхо залуецца! Стонеть! Плацеть!

— Хорошо. Сейчас спустимся.

— Для операции лампу-ти сготовить?

— Залей керосину. Солнце к закату клонится. Если оперировать, будем уж потемну.

Я не мог построить храм из бревен и досок. Я мог возвести его только мысленно.

На камне я служил Литургию мою, дитя. На большом валуне у воды. Море лизало мне ноги. Передо мной на валуне лежали Святые Дары: пайка хлеба и в мензурке клюквенный сок. Я освящал Дары и плакал от радости. Слезы текли из единственного глаза. Я уже почти ничего не видел. Только слышал море. Я его отражал. Оно отражало меня. Вечное соленое зеркало.

Передо мной, за мной вставал народ. Доносились запахи моря. Водорослей, рыбьей чешуи, сырого песка. Толпы шли, надвигались, били в меня прибоем.

— Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем... имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру! Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его... распятие бо претерпев, смертию смерть разруши...

Народ весь был один причастник. Весь стоял передо мной, чтобы я его причастил. Нет, я не сходил с ума, деточка, я просто по-иному стал чувствовать мой народ. Шли, и шли, и шли толпы, шли Души Живыя, рабочие и крестьяне, солдаты и генералы, врачи и учителя, кузнецы и пастухи, богомазы и малеванцы ярких плакатов, оружейники и поэты, иереи и бандиты, рыбаки и костоломы, дети и старцы, бабы и герои.

Они все шли прямо на меня, и я видел их, медленно шли, грозно, в шинелях серого сукна, в лаптях и онучах, в зимних военных формах, подбитых песьим мехом, кто зряч, кто слеп, как я, вас еще вижу, братья мои, — шли, с изжелта-зелеными страшными лицами, кто пережил в бою газовую атаку, кто слышал приказ: ни шагу назад!.. — крестьяне, в грубых тяжелых руках вилы, грабли, лопаты, а кто вон и петуха несет, к животу прижимает — красного, ослепительного, кукарекает оглушительно, сумасшедше... то не петух, то огонь, им подожгут и спалят ближнюю деревню, да нет, сто деревень, тысячу, тьму, — петух, жги, жги, кричи на весь Миръ, дух горящий!.. — сто усадеб растоптали, сто церквей повзрывали, а вот он, мальчонка, один, и хлещет дождь, и прячет он, от бури и дождя, под обтерханное пальтецо иконку, позолота стерлась с оклада, через лик Спаса трещина бежит, изогнутая молнией... шли матросы, в тельниках, в бушлатах, эй, кто там держит железную кружку в руках, глотает горячее питье, и слышу ледовитый звон зубов о кружку, и кричат матросы: кончен бал, погасли свечи, и в тюрьме моей темно!.. да, кончен бой великих времен, наш корабль торпедирован, наш боцман — Бог, наш штурман — нежный Серафим, а вместо ног у него огни, огни, великие костры... а кто наш лоцман, кто же поведет нас?.. убили лоцмана, снарядом попали, упал на доски палубы, близ расчехленной пушки, кровью обливаясь, — шла пацанва, что ела крыс в подвалах, шли девчонки, твои ровесницы, дитя, что на вокзалах, в пельменных, в чепках дешевле гадкого вина продавали свою жизнь; они рядом шли — беспризорник, в кулаке краденую винтовку стискивал, все шептал: десять пуль, десять пуль!.. и бедняга с волчьей пастью, воришка-шипач, и пахан, много таких я навидался и здесь, на северах, и в столичной темнице; шла мать, закутанная в черный платок, у нее сына убили на войне, и она шла сама как покойница, а жить надо было, и идти надо было, все вперед и вперед, а сын жил лишь тихой молитвою под языком ее; все на меня надвигались, все, нищие, голые и босые, на морозе без рубахи, лишь кресты нательные мотаются, а кто из толпы падал под ноги идущим и катился под гору, под откос, к белопенному морю, шли и шли, кто в офицерском кителе, кто в царских эполетах, кто с кровью на груди, пуля навывлет прошла, а они воскресли и идут, и кричат: да будет свет!.. — и опять падают на снег, крася кровью свадебную белизну, а из-под сомкнутых век у них течет горячее стекло; шли бок о бок обходчики железнодорожных путей, наблюдатели рельс, тащили в руках молотки и кувалды,

а за ними шли бабы, как по морю корабли, несли громадные тяжелые животы, подхватывали их обеими руками, а дети жили внутри, глухи и немые, там, в крошечном мраке живых белых трюмов, в теплой морской воде плодородного брюха: эй, белуга, говорят, ты умеешь громко кричать, так давай вой! реви! живи за двух! жизнь живо оборвется, не успеешь оглянуться!.. бей не бей отчаянно башкой в молчащую землю... шли в мерлушковых шапках, в хромовых сапогах, в черных овечьих катанках, в смешных лапоточках, в грубых надежных кирзовых сапожищах, в сетках от комаров, от хищного таежного гнуса, в грязных, простроченных толстой ниткой фуфайках, в промасленных заводских робах, в казачьих папахах, за валом вал, за рядом ряд, шли и шли, так ночь идет за днем, а день катится за ночью, все шли и шли, и все на меня, и сметали с лица земли все, что я знал и любил, все мои жалкие детские погремушки, все мои зеркальные сны, все мои скальпели, чтобы рассекать, и иглы, чтобы крепко, на всю жизнь, зашивать, все растаптывали, а оставляли мне только себя, и я узрел мой народ, мой великий народ, мое счастье, мое чудо, я, лишь умеющий резать и шить человеческое тело, я, не знающий человеческую душу, а все-таки безмерно, безумно верящий в нее, так же сильно, как я веровал в Бога; я, лишь плясун близ операционного ложа, для кого смертного одра, для кого родильной лодки, я, безумец, врач, иерей, урод, отверженный моим народом, а потом крепко возлюбленный им; и я упал наземь перед моим народом; и я раскрыл для крика рот, а не слышать было громкого крика, волна взлетела под облака, а потом обрушилась на меня и смела меня; Время всадило в грудь мою двуострый меч по рукоять, свеча солнца сожгла до дна, народ подмял меня под себя, жестоко пройдясь босыми и обутыми стопами по моей белой груди, по белому халату, по белым раскинутым рукам, по белым живым крыльям моим, а я-то и не знал, что я крылат, и перья мои жестоко хрустнули в снегу, меня чужие ноги вмяли в снег, и мой незримый храм надломился, я покатился по насту, мне в спину впечаталась военным огнем голая ступня, вражья или родная, все равно, и я чуял, как ребра мои прорастают в землю, как льется на белый хлеб снега моя кровь сладким и горьким вином, и кость от кости я стал, и плоть от плоти я стал жестокого, единого и единственного народа моего, и стал я в голодуху голодному — ломоть, узнику — свобода, забытому — память, убийце — прощение.

И понял я, кто я такой.

И понял, кто такие мы.

И понял, кто идет за нами вослед из тьмы безумной, крошечной.

И протягивал я народу моему Святое Причастие, протягивал золоченую ложку, зачерпывая Тело и Кровь Христову из потира — маленькой алюминиевой кастрюльки, сташенной Николаем для меня в кухонном бараке; и пресуществлялись скудная пайка и клюквенный северный сок во Святые Дары, и подходили и подходили люди, и причащал я их и причащал, и так счастливо было мне, так сладко, так слезно, так высоко, я парил на облаках, я дышал грозой и огнями комет, а народ все шел и шел, все шел и шел, и улыбался мне, и плакал передо мной, и стонал, умирая от ран, и рожали бабы, сначала дико вопя, а потом нежно плача от высокого, занебесного счастья, да, это было Причастие, какого у меня во всю мою жизнь еще не было, и кто же это шел в могучей толпе там, там, еле видно, в тумане, в сизой пелене, я еще не видел его лица, а может, уже не видел, а вокруг вспыхивали, шевелились, мерцали и гасли все лица, лица, лица... и он подошел, подошел ближе, вот он уже рядом, вот он смотрит на меня, ах, Господи, кто это, тайну открой!

Почему это лицо человеческое так больно, нежно знакомо мне!

Он шагнул ко мне, вздохнул, чтобы слово сказать, а я уже знал все.

— Сынок...

— Да, отец.

Мальчик стоял перед мной. Не мальчик уже. В волосах седая паутина. Голубиные лапки морщин в углах ярко-синих глаз. Глаза матери твоей! Души моей! Да разве ты жив, милый! Да разве она умерла!

Не верю... ни во что не верю... все может измениться всякий час... я слишком хорошо знаю, что маятник... он качается... и качнется...

— Причасти меня, отец!

Я поднес ко рту его лжицу со Святыми Дарами.

Тысячи тысяч людей причащал я, а Дары все не кончались.

Он проглотил Тело и Кровь Христову жадно и быстро — так голодные дети глотают вкусное яство.

— Кто ты, сын мой?

— Я солдат, отец.

Я глядел в небесные глаза.

— Как ты...

Я не мог выговорить: умер.

— Я погиб на войне.

Я плакал, глядя в глаза ему.

— Я думал, сынок, ты младенцем ушел в небеса.

Он улыбнулся.

— Нет. Времена сместились. Ты знаешь...

— Я знаю. <...>

НИКОЛАЙ

Меня послали на войну. Я воспринял это как счастье.

Все под приказом. Все под приказом. Приказали — сделал. Мною распоряжались и раньше. И я исполнял чужую волю. Меня уже давно не удивляют приказы. Жить внутри приказа естественно: другого пути у тебя нет, если ты живешь в обществе. Если ты уходишь жить в пещеру — тогда другое дело. Ты ни с кем не связан. И с тобой — никто. Блаженство? Сомнительно. Человек без другого человека — дикий зверь в лесу. Человеку нужен человек.

Я собирал пожитки в вещмешок и вдруг засунул руку за пазуху и нащупал мой натальный крест.

Врач Алексей, что же, благодарен я тебе. Да и себе немного. Себе — что отважился. Тебе — что не отказал. Какой священник откажет мирянину в крещении? Да никакой.

Раннее, светлое утро. Все хорошие верные дела совершаются утром. А все тяжелые, печальные — ночью. Человек умирает ночью. Да и рождается — ночью. Ночью рожала Душенька. Стоп. Не вспоминать.

Я надел сапоги, шинель, взбросил на плечи вещмешок. Дора стояла у причала, я знал. Спуститься до пристани от барачков — раз плюнуть. Пять минут.

Надо зайти к Алексею. Попрощаться.

Он в лазарете. В палате. Совсем слепой.

Я учусь молиться. И каяться. Мне было очень трудно встать на колени. Но я встал. Перед иконой, в нашей с покойной Душенькой комнате висят иконы, она сама повесила. Я встал на колени перед иконой Богородицы, не знаю, как называется, у Богородицы много имен, я знаю, и попросил прощения за то, что ослепил батюшку. Мы с ним дрались два раза. А третьего-то не дано. Батюшка сказал: третье сражение про-

изойдет на небесах, и не наше друг с другом, а Сил бесплотных, под предводительством ангела или архангела, имя забыл, простое такое имя, битва, короче, с чертом. Черт, Бог! Запутаешься. Но я учусь различать. Мне главное — во всех этих божественных штудиях про врачевание не забывать. Алексей сказал: чем больше веруешь, тем вернее оперируешь.

Я много о чем хотел бы расспросить Алексея, но посторонних вопросов я ему не задавал.

Мне бы с самим собой разобраться.

А потом следующий шаг.

В коридоре лазарета стоял плотный запах вчерашних кислых щей. Я прошел сквозь щели и толкнул дверь в палату. Все койки заняты. Коек не хватает. Люди лежат на раскладушках, сундуках, даже в лодках: с берега лодки рыбаки приволокли, на этаж заволокли и по углам палат рассовали. И больных в лодки кладем. Смех один. А вот нашли же выход. И тряпки необходимые отыскали, подстилать и укрываться. Человек букашка приспособляемая, всюду нужное найдет.

В ближайшей к двери лодке проснулся мужик, сонно, бессмысленно поглядел на меня. Растревожил я его. Ничего, мужик, лежать не работать, выпишься.

Я подошел к койке Алексея. Он спал. Сном праведника. Или младенца.

Спал и спал.

За моей спиной, я чувал, мотается на срубовой стене зеркало. Кривится, мигает, косо падает. Что за чушь! Нет, не оборачивайся, сказал я себе, не оглядывайся назад.

Было тут зеркало вчера? Не было? Никто не знает. А знает, не скажет.

А я на ту стену даже не посмотрю.

Я стоял перед койкой и смотрел на спящего Алексея. Он дышал беззвучно и ровно, ни сипов, ни хрипов. Так тихо, неподвижно лежал.

Как мертвый, подумал я, и больше не стал об этом думать.

Так он сладко спал. Крепко. Я не смог его разбудить.

Не захотел.

Постоял-постоял еще пару минут. Поклонился низко, до земли, рукой половиц коснувшись. Охватил глазами его спокойное лицо, запоминая. Повернулся и пошел к двери. У двери остановился и тихо, не оборачиваясь, сказал:

— Спи. Я еще вернусь.

И я вернулся.

Но сначала была война. И новая она как старая. Она все такая же. Падают и умирают люди под потоками огня, под волной снарядов. Пчелы пуль кусают тела, и человек, если не вытащить из него железную пчелу, умирает, затрачивая на этот процесс минуты, часы, дни, недели, неважно, здесь мы играем в игру кто скорее: хирург или смерть.

Война была все такая же темная, черная, с огнями трассирующих пуль, с хищными бомбами и волчьими самолетами. Бойцы наставляли стволы зениток в небо. Истребители летели то низко, у самой земли, то резко и страшно взмывали в небо, растворялись в нем, и я терял их из виду. Прифронтовой лазарет был набит ранеными, они лежали в коридорах на расстеленных шинелях. Лазаретной площади не хватало. Главный врач лазарета приказал немного прибраться в разбомбленной церкви, тут, рядом с передовой, и размещать раненых там. Так сделали. На обход я, после лазарета, являлся в храм. Приседал перед раненым, ощупывал его, прооперированного, оглядывал. Кому как везло. Кто шел на поправку почти сразу после операции, у кого развивалось воспаление. Объяснимо. Цветущая антисанитария. Я просил санитарочек стирать бе-

лье в мутной речонке хоть золой, хоть щелочью, хоть цветком мыльницей, но стирать, ополаскивать и отжимать. Иначе, я кричал, сдохнем во вшах!

Бои шли тяжелые. Я бы даже сказал, тяжеленные. То ли я от войны отвык, то она, матушка, перешла в страшную фазу. Перевязочная наша дымилась. Я тоже на перевязках, но если нужен как хирург — все бросаю и бегу к столу.

— Наркоз! У нас есть еще наркоз?!

Черт, путаю ведь всегда, как этих операционных сестер зовут. Галя, Глаша, Зина, Нина.

— Так точно, товарищ военврач!

— Эфир?!

— И хлороформ, товарищ военврач!

— Так, ну...

Огнестрельное. Бедро и плечо. Артерия перебита. Плюс перелом. Большая потеря крови.

— Переливание, сестры! У кого группа крови первая?! Да ведь, чую, почти у всех?! Популярная кровушка... У тебя? У тебя?!

Они, все три девчонки, согласно и испуганно кивали.

— Отлично! Готовим трансфузию!

— Ой, тащ военврач... нет, нет...

— Кто сказал нет-нет?!

Я орал, как в лесу.

Белокурая сестра, худенькая, плоскогрудая, как щепка, в ужасе мотала головой.

— Пока готовимся, конечность омертвеет... и начнется гангрена... Сами знаете... Я...

— Что ты предлагаешь?!

— Ампутацию!

— Шутишь?! Рука правая!

— Если гангрена... ну вы сами знаете...

Я, к сожалению, все сам знал. Лучше, чем эта козявка.

— Готовим ампутацию! Скальпели. Корнцанг. Пинцеты. Ножницы. Не швейные, черт бы вас, ножницы Купера! В том шкафу. Ампутационный нож! Распатор! Ретрактор! Нет ретрактора?! У него что, ножки выросли, он сам убежал?! Ага! Нашли! Пилу! Лезвие! Рашпиль! Кусачки!

— Кусачки... не вижу...

— Да вы ослепли! Вот!

— Спасибо... простите...

— Биксы с бинтами и марлей! Вату! Белье!

— Белья давно нет, тащ военврач... Вата — еще есть...

— Проклятие!

Раненый подал слабый, как из подземелья, голос.

— Доктор!.. а что вы, это... ну... руку мне?..

— Да! Отниму! Или помрешь. Ни за понюх табаку.

Белело лицо раненого под густой многодневной щетиной.

— Правую-то... Да я ж теперь... да я же...

— Баба есть у тебя?!

— Есть...

— Не пропадете.

— Так стыдно же... она меня кормить будет...

— Еще неизвестно, кто кого... кормить... Глянь, боец, рука-то твоя скапустилась. Посинела. Как зимородок. Не могу тебя такого эвакуировать. Сепсис в пути явно начнется. И поминай тебя как звали.

Солдат глядит на меня полными слез глазами, и мне, как по воздуху, как воздушно-капельная инфекция, передаются его слезы.

— Так нельзя сохранить?

— Нельзя, дружище.

— Ну... давай... кромсай... перебьюсь как-нито...

Жгут. Нож. Разрез до кости. Раненый дикими, круглыми глазами смотрит на нож.

— Доктор... эй... погоди, повремени... уже больно страшно...

— Не страшнее жабы или змеи, боец.

Эфирная маска на его перекошенном от страха лице. Сестры льют эфир. Я стою и жду.

Ну все, уснул. Если проснется — заорет на весь лазарет, напугает всех.

Нет. Спит.

Вот теперь работай, верный скальпель.

Сестра, белее снега, ухватила щипцами кость, я пилю. Я дровосек. Я еще могу на это все смотреть и во всем этом ковыряться, скажите спасибо.

Вижу, сестра вот-вот в обморок около стола грянется. Этого допустить нельзя.

Сосуды перевязать. Нерв усечь. Все как по-писаному. С моих действий хоть учебник пиши. Алексей бы написал. Черт, у него же есть рукопись, в сундуке хранится, в бараке, он же мне сам сказал. Называется, вот черт, забыл. А, вспомнил: «Операционная техника военного хирурга». Если он умрет, надо найти и сбечь. А потом издать. Чтобы люди читали, врачи. А то узники сожгут в печи, примут за растопку.

— Сестра, сестра! Жгут ослабляем! Так!

Второй сестре кричу:

— Зина! Дай ей нюхнуть нашатырь!

— Я не Зина, я Нина.

— Да черт с тобой, Нина!

Спохватываюсь. Я, крещеный, чертыхаюсь на каждом шагу. Непорядок. Кошунство. Я не хочу быть кошунником.

И впервые в жизни, да, вот так она, чертова жизнь, сложилась, шепчу себе под нос, пока сестра протягивает мне зажимы, и я зажимаю мелкие сосуды, а кровь из артерий все бьет вверх, вот они, маленькие красные фонтаны жизни, еще зажим, еще один, зажем все, что кровит, тогда можно бойца и в дорогу, а в это время шепчу, шепчу, я и слов-то таких никогда не знал, а вот поди ж ты, говорю их теперь, будто знал всегда:

— Господи, помилуй, Господи, прости, Господи, прости и помилуй меня, грешного.

Когда перевязываешь прооперированного человека, будто бы готовишь его к торжеству. К свадьбе. Вот тебе белый марлевый праздничный костюм. Да ведь младенца тоже обворачивают белым. Пеленки. А мертвеца? Саван же тоже белый. Везде вокруг нас зима. Вечная зима. Не выбраться из снегов. Но снега — это жизнь, и только вечные снега — это смерть.

Наложил повязку. Устал, как конь на пашне. Сестры втроем переносят, кряхтя, спящего бойца на койку и облачают в его потную, просоленную, окровавленную гимнастерку.

— Засучи ему рукав! Чтобы видать повязку! А вдруг закровит! Всех прооперированных собирайте в палату около кухни! Я еще раз всех осмотрю. Главное, не пропустить гангрену!

— А кого-то мы тут оставляем? Или всех отправляем в город?

— Ну как вы считаете? У нас здесь лазарет! Первая помощь! А их в городе по госпиталям рассуют!

Ночь. Подводы стоят во дворе лазарета. Я курю. Наконец-то. Курить — это все равно что на свадьбе пировать. Когда у меня будет свадьба? И с кем? Я после Душеньки не хочу ни на ком жениться. Была жена. Был сын. Где они теперь? Где буду я, когда меня не станет?

Всех наших раненых увезут. Куда? Где они будут, когда война закончится? Да ведь она не кончится никогда. Это всем ясно. Она может только утихнуть, а потом опять вспыхнет.

Выкурить эту папиросу, распоследнюю. Пачка, она не безразмерная. Я хочу вернуться на Острова. Туда, в мои бараки. Там слепой Алексей лежит в голой палате и смотрит внутрь себя. Больные говорят о том о сем вокруг него, а он лежит и молчит. Иногда к нему приходит девочка-санитарка. Белокосенькая такая. Не заключенная, нет; наверное, чья-то дочь. Кого-то из офицеров, из начальства. А может, ссыльная, да взяли в лазарет санитаркой, пожалели. У людей много чего строится на жалости. Любовь могут забыть, а вот жалость навалится и прошибет. Насквозь. Девочка приходит к Алексею, садится на край койки, он говорит тихо, невнятно, еле слышно, а она слушает. Слушает этот дрожащий воздух, почти тишину.

В тишине звучит дальняя речь. Так говорит душа. Сердце так бормочет.

Докурил беломорину. Кинул бумажную измятую соску на землю. Как я сегодня устал. Не мышцы даже — кости болят. Боже! Помоги мне.

Я пошел к начальнику лазарета. Надо было что-то важное сказать, весомое. Чтобы туда, на севера, хотя бы на время отпустили.

— Товарищ начальник, хочу отпроситься, мне к родне съездить надо. Бои в нашем квадрате утихли, сами видите.

— К какой такой еще родне?

— На север, в Кемь. Потом на Острова.

— На Острова? Эх вашу родню куда занесло. Мать-отец там, что ли?

— Да. Отец.

— Ну... что же. Оформлю вам отпуск в виде длительной увольнительной. Попробуйте только не вернуться.

— Я вернусь.

— Слово держите. Это война.

Бумагу заимел, вышел. Пошел по жизни. Машина. Город. Вокзал. Поезд. Дорога. Тряско. Страшно, когда бомбят. Война, да, ты бесконечна. Тишина очень маленькая. Она живет у тебя в кулаке, война, а ты все крепче, сильнее сжимаешь безжалостный кулак.

Ехал и спал. Ехал и все забыл. Ехал и приехал. По земле пылающим платком, вышитым золотыми цветами и малахитовыми травами, раскинулось лето. Тундра ликовала. Странной, невысказанной казалась война отсюда. Я переправился на старой скрипучей доре на Остров и шел по травам, и мне казалось, я шел по райской мураве. О траве, цветах и яблоках в Райском Саду рассказывал мне Алексей. Он видел Рай, а я еще нет. Он слабо улыбался: ты веруй, и однажды увидишь.

Не видел, не видел, а вот нынче увидел! Настоящий Рай. Высокое бледное небо, и льет чистый золотой свет, светом нежно землю целует. Море затянуто серой шелковой рябью, тихо плещется, прозрачное, цвета слезы, земля им, морем, тихо плачет и смеется. Цветами усыпана вся тундра, россыпи самоцветов, скань на окладе травной иконы, вся земля чудотворными очами глядит из цветочной вышивки, смешались перлы, изумруды, эти, синие, как их, сапфиры, да названий самоцветов я не знаю, я обнаружил, я много чего не знаю в том тайном участке жизни, что ведает настоящей красо-

той, нежностью и любовью. А вот Душенька ведала. Да Душенька сама была отсюда родом! Из Рая! Да она здесь и осталась; никто ее из чудесного Рая не изгонял. Она тут, она его навечная Душа. Везде она. Ступлю шаг — ландыши возле сапога: она. Ступлю другой — глядят на меня из-под куста огромные стрекозиные оранжевые глаза мо-рошки: она! Ягодой меня угощает! Ступлю третий — выпорхнет из-под ног пятнистая тяжелая куропатка, взовьется в синеву, то ли собакой лает, то ли девчонкой хохочет! И я поднимаю глаза в синеву, и меня обдают кипятком радости синие радужки: она! Глядит на меня! Так иду, и Рай двигается, шевелится, вспыхивает, бьет прибором, идет вдаль и вперед вместе со мной.

И опять же, первый раз в жизни шел и молился. Своими словами. Ну да ладно. Пускай. Чьими угодно. Мне это все в новинку, но вот тянет! Ощущение, как у алкоголика: тяга. Нет, это я грубо сказал. Больше похоже все-таки на любовь.

Люблю, и тянусь, и иду, и стремлюсь, и опять люблю. Вот так бывает.

Шел-шел и упал в траву. На спину. Руки раскинул. И так лежал. И в небо глядел.

А в небе медленно, торжественно плыли громадные, величиною с целую жизнь, облака.

И я лежал. И облака плыли.

И что мне было делать, как не шептать первую мою молитву, не улыбаться, не плакать?

— Многих я разрезал и сшил... а многие умерли, не спас. Господи! Помогите мне! Работать, жить! Дышать! До последнего дня. Всю кровь мою людям отдам. Это значит Тебе. Ты же ведь и есть все люди. И все умение мое. И всю мысль мою. Острую, как скальпель. Не постыжусь перед Тобой. Все как можно лучше буду делать. А война, что война. Она идет и пройдет, Господи. И пусть начнется потом, опять. Выживем! Солдат наших вылечим. Врага одолеем. И смерть одолеем. Она первый враг. А если не враг? А если смерть не враг, Господи, тогда...

Я обрывал шепот. Вдыхал всей грудью цветочный, ягодный дух тундры. Земля источала жар и холод. Изнутри земли медленно поднимались робкие ростки, я слышал, как растут цветы и травы. Облака падали на меня с небес мощными снеговыми горами, и я закрыл глаза. Губы продолжали шептать, а что, я уже не помнил.

Я боялся, когда шел в лазарет. В ту палату. Мне сказали: батюшка ослеп полностью. Дохтур слепенькай напроць, и силусек лисаецца, хоросо, Николаюска Петровиц, при-бымси, зывова застали дак.

Да. Боялся я этой палаты. Боялся Алексея. Боялся слепых. Боялся прошлого. Призрака Душеньки боялся. Того, другого, третьего боялся. Черт, я так-то ничего не боялся, я пуганый, стреляный воробей, это не страх, что-то другое. Не могу назвать. Порог переступил. Боялся зеркала. Ну да, зеркала. Это странно, не могу объяснить. Двойника. Мне казалось, Алексей мой двойник. И что он меня все это время, все эти годы, после того, как я стрелял в него, а угодил в подушку, там, у врага в логове, на войне, да, все это время он меня незримо сопровождал. Маячил у меня за спиной. Иногда я ловил себя на том, что вполголоса разговаривал с ним. Когда приходилось оперировать сложного больного. Или когда тяжело на душе было. Так тяжело, хоть волком вой. Я не выл, а с ним разговаривал. Не признавал этого сначала. Когда понимал, что происходит, замолкал. Себя костерил. Смеялся над собой. Но это повторялось. Зря? Не зря? Зачем?

Вот приехал я сюда. Приехал. Сто земель преодолел. То ли на побывку, то ли с войны удрал, дезертир, но как же удрал, начальник меня отпустил и бумагу подписал. Двойник, говоришь, сам себе говорю, двойник! Чай, мы не в детской сказке живем.

Во взрослом мире, и чертов взрослый мир весь передрался, перецарапался. Ну что, Алексей, встань передо мной, как лист перед травой.

Ахти мне, не стаешь нонче батюско, помирати ноценькой станеть.

Переступил порог палаты. Медленно к его койке шел, как хромой.

Подошел. Лежит. Неподвижно.

Вытянулся под простыней, как мраморный. И вдруг улыбнулся.

Я гляжу и вижу: не он лежит, а зеркало.

Койка — зеркало, и человек — зеркало, и весь воздух палаты вокруг койки и вокруг меня — зеркало.

Вот он дышит. Еще дышит. Это я дышу. Еще носом сопит. Спит. Это я сплю. Незрячая глазница уже рубцами кожи грубо, уродливо заросла. Затянулась. Это мой выбитый глаз еле зажил. Вот веко целого глаза дрогнуло. Это я, я сейчас другой глаз открою. И ничего не увижу. Ничего.

Смерть. Это смерть. Она отражает жизнь. Так все просто.

Не надо сокрушаться, выть и причитать, отчаиваться. Так суждено. Отражаться. Отражать.

Зеркало плыло и уплывало лодкой. Плыла лодка койки в небеса. В чудеса. Я закусил губу. Алексей спал и улыбался во сне. Он меня почувал. И отразил.

Я стоял. Точнее, лежал. Сейчас я проснусь, потянусь, встану и на самого себя одним глазом весело погляжу.

Что с его рукой? С плечом? Загипсовано. Перелом? Я не знал. Кто сломал? Зачем? Упал? Избили? Порезали? Вывихнули? Пытали? Мы же не на войне. Мы на Родине! Вечная война идет. Всех со всеми. Мы, народ, тоже путаем своих и наших. Нам кричат: враги народа! — ну мы и бежим с ними воевать. Худо это? Хорошо? Трагедия была, есть и будет. Но мы такой народ, что умеет радоваться и внутри страдания. Петь и веселиться и внутри отчаяния. Да, такие уж мы. Не сломать нас. Мы перелом моментом загипсуем. Срастется.

Я ближе шагнул. Прямо передо мной, в живом зеркале, маячило, моталось лицо Алексея.

Он лежал неподвижно. Улыбался. Улыбка льдом застыла.

Неужели умер? И я не успел. Нет. Дышит.

Тихо дышит, еле слышно. Еле видно. Редкий вдох. Беззвучный выдох.

Сколько народу наш народ поубивал на войне, а сколько мы с тобой, отец Алексей, народу вылечили. Прооперировали и на ноги поставили. И опять на войну отправили. Тот, кто пережил, перешел вброд свою смерть, уже герой.

И опять пошел смерти навстречу.

Роды! Смерть! Да, так все просто. Не надо слов. Одна кровь. Она льется. Человек кричит. Не хочет умирать. Не хочет рождаться. Не хочет быть. Хочет — не быть. Ничего не хочет. А кто тогда все это хочет за него?!

Алексей ответил бы: Бог. У него один ответ на все. Богом за всех и вся отвечает.

Я теперь крещеный, и я должен верить, что это верно.

Я верю.

Но зеркало! Зеркало!

Оно сонно, невидимо висит, так чую, посреди палаты, на срубовой изжелта-карей, мощной сосновой стене. Корабельные сосны для сруба откуда-то завезли. С материка. На Островах сосны не растут. Говорят, раньше росли.

Скос зеркала, летит, кренится, дрожит. Я хочу его поймать, а то упадет и разобьется. Чистое стекло. Искрится алмазом. Да испод в черных пятнах. Амальгама старая. Потерханная. Тает свет. Летит опять. Птица, и светится крыльями. Крылья широко распахнуты, все отражают. Все, что могут отразить.

— Я пришел, — говорю тихо.

Я знаю, он меня слышит.

Только ответить не может.

Подай мне знак, что слышишь. Подай мне знак.

Мой двойник на койке пошевелился. Единственный глаз разлепился, открылся. Заросшая уродливой кожей глазница проваливалась внутрь черепа. Глаз глядел и не видел. Ни себя, ни меня.

А Бога? Бога видел?

— Ты пришел, — говорю я Николаю. — Я ждал тебя. Я знал, что ты приедешь. Господь привел тебя. Спасибо. Благодарю Тебя.

За койкой, за никелированной ее спинкой с блестящими стальными шишечками, Он стоял. А может, это просто огромное зеркало висело на стене и нас отражало; кто приволок сюда зеркало, я не знаю, честно, не знаю, дитя мое, мне никто не сказал. Дитятко! Как прекрасно быть отраженным. А зеркалом еще прекрасней быть. Ты молчаливый, ты бесплотный. Стекланный? Нет. Ты серебряный, и чем дальше Время птицей летит, тем сильнее и бесповоротней ты обращаешься в свет. Стать чистым светом! Об этом все богословы, об этом все мудрецы. Я не богослов, не мудрец. Я просто врач. Но зеркало! Время. Это Время. Я всю жизнь отражал Время в видениях моих и возвращал его людям, вынимая из ямы смерти их. Пришла пора. Нынче Время отражает меня. И Господа рядом со мной. И еще одного меня; второго меня; я приехал, чтобы стать мною, который уходит. Сейчас уйдет. Порог зеркала переступит.

Там, внутри зеркала, отражений нет. Бог не отражает. Он вбирает. Он впитывает, пьет до дна, обнимает, принимает. Прижимает. Всю жизнь твердил, кричал, шептал: где ты, любовь? А вот она. Вот — Ты.

Все, что мы делаем на земле, все единственно. Зеркальная поверхность — не поверхность. Она движется, шевелится, дышит. Скользит. Играет. Она живая кожа. Живой горячий, нежный, влажный, речной поцелуй Души моей. Вот ее щека прижимается к моей. Да разве это смерть? Зря мы боимся смерти. Вспомни, как ты родился. Излились серебряные воды. Открылось живое жерло. Ты всунул голову в яму. Пошел головою вперед. Во тьму. В смерть. Страшно тебе было умирать. Но ты умирал. Ты шел. И на войне так же. Ты идешь вперед. Бежишь. В атаку. Ты рождаешься. Тебя рожают. Рожает Мать-Земля. А может, Богородица. Она всеобщая Мать. Она всех младенцев родила. Не только Бога.

Всех людей. Это знание хранится внутри зеркала. В Зазеркалье. Наступает час, и об этом узнает человек. Слишком поздно. Каждый уносит последнее знание с собой. Туда. В свет. Свет дорого берет за то, чтобы сиять: жизнями. Тут ничего не поделать. Так устроен Мирь.

— Ты приехал.

— Я приехал.

— Вижу.

— И я вижу.

Слепоты нет. Она исчезла. Перед светом все равны. И люди, и звери, и слепота, и прозрение. Меня били — это значит благословляли. Меня бросали за решетку — значит отпускали на свободу. Все отражает все. Последний Приговор есть Великое Прощение, а Страшный суд есть великая Брачная Вечеря. Эй, за тобой стоит Душа моя, врач Николай? Душенька. Не отходи от койки моей! Видишь, я тяжело дышу! Это значит — легко! Видишь, не двигаюсь! На самом деле лечу. Лица, лица, лица! Ты видишь Рай, Николай? Ты идешь по райской мураве? Вокруг нас Души Живыя. Не упусти их. Запом-

ни. Излечи. Все больное хочет исцелиться. Дай новую клятву Гипократа. Старую мы с тобой давали. Знаем. Новую скажи. Такую: да буду я зеркалом любой болезни и любого несчастья, происходящего с людьми на земле, все отражу, все вберу, все прошу, все излечу. Всю чужую боль обниму, от человека себе возьму, из плоти его боль вырежу, прочь отброшу, а вместо боли и ужаса в человека вставлю, вживлю свет. Свет! И да станет человек, мною излеченный, к жизни воскрешенный, зеркалом Света!

Что... что, думаешь, неправду говорю... чушь несую... предсмертный бред...

Двойник мой! Милое зеркало мое! Где Душенька наша? Наше зеркало? Где ее дитя? Оно, мертвое, стало другими детьми, живыми, ныне живущими. Ты тоскуешь по ней? И я тоже. Перед смертью понятно, зачем она явилась, зачем любила и рожала, зачем рано ушла.

Мы гневаемся на смерть. Зря. Давай лучше поглядим в зеркало.

Я, слепой, увижу там...

Я, зрячий, увижу там...

Давай поглядим в зеркало. Зря мы гневаемся на смерть.

Перед смертью понятно, зачем Душа явилась в нам, зачем любила и рожала, зачем рано ушла. Ты тоскуешь по ней? И я тоже. Где Душенька наша? Наше зеркало? Где ее дитя? Оно, мертвое, стало другими детьми, живыми, ныне живущими. Душа. Милое зеркало мое! Двойник мой!

Зеркало на стене наклонялось все сильнее.

Два пространства являлись вокруг нас. Одно вымышленное. Его не было никогда и быть не может. Однако вот оно есть, здесь и сейчас. Наша мечта, наше вечное недостижимое счастье. Второе настоящее. Сидят в палате лазарета пряжи, прядут время. В северных нарядах, в холщовых юбках, в красных поневах. В белых снеговых, вышитых строчкой живой крови фартуках. Рукава засучены до локтей. Руки грубые, ловкие красны. Прядут. Наклоняются вбок, взад и вперед. Приноравливаются к движению, струению, к бегу быстрой нити. Пряжи! Вечные бабы-пауки. Вечные Арахны. По полу клюква болотная щедро рассыпана, босые пряжи ходят и стопами дают ягоду. Алые пятки отпечатываются на скобленных дожелта, чистых половицах. Там, далеко, на дальней стене палаты, на бревнах старого сруба, висят ковры. Они вытканы усердными пряжами. Люди ходят по палате, нянечки, доктора, узники, рыбаки, начальники, операционные сестры, их фигуры сливаются с шевелящимися вдали цветными пятнами ковров. Ковры, цветочное покрывало земли! Вами была укрыта земля Райского Сада. И вот вы здесь. Во смертной палате. Как хорошо! Близко я вижу пряж. Они сидят, трудятся. Веретена быстро мелькают, жужжат. Ткется нить. Нить пурги. Нить заполярной вьюги. А вон цветную нить выдернули безжалостно из полнощного мафория, из северного сияния. Что сильнее, Мирь выдуманный или Мирь подлинный? Выдумка теяется перед Истиной.

Двойной наш Мирь, и тяжела тайна Двойного, но мы в ней живем, и нам в ней жить и впредь. Трудно в лицо правде смотреть. Но ведь смотрим. Вон сияет посреди тьмы праздник, а вон в углу палаты горько, прижимая ладонь ко рту, чтобы не слышно было людям, плачет страдание.

Мы работаем всю жизнь. Ткем, прядем, кирпичи кладем, доски пилим, дрова рубим, хлеб сеем, в уголь подземный врезаемся, самолеты строим, по небу летаем. Мы работаем, а другие вкушают наслаждения. А невзрачная Арахна, паук бессонный, ткачиха в холщовой поневе все прядут и прядут. Все ткут и ткут. Ковер нашей жизни огромен. Кто поручится, что именно твою, человек, фигуру вышьют вон там, в самом тайном, никому не заметном углу ковра?

Пряхи, они соревнуются друг с дружкой. Кто быстрее! Кто умелее! Кто сноровистей, ухватистей! Пряжа — тот же операционный кетгут. Иглу сюда! Я буду шить. Зашивать разрез на теле больного. И больной будет жить. А всего лишь тонкая нить! Откуда вы тут, в моей последней палате, пряхи? Я вас не звал. А, понял! Вы работницы Времени. Вы работаете на Время. Оно ваш хозяин. Оно вам платит. Ах, вы без денег? Просто так? Сами по себе? Вы нам, грешным, дарите ваше ткачество? Мерное, утомительное, сосредоточенное действие, монотонная работа, пряжа. Прясть и прясть. Усердно. Молча. Не отвлекаясь ни на что. Гремит война. Убивают людей. Кричит народ от горя на широких площадях. Летят в воздух цветы и огни на великих праздниках. А ты сиди и пряди, пряха. Гляди на веретено. Время тебя накажет, если нить порвется. Отнимет у тебя единственную радость твою.

Грязь, масло, кровь, лимфа, зелень трав, сок морозики, ключевая вода. Жизнь не кончится никогда. Кончусь только я. Нет! Зеркало! Я отражусь. Я там останусь. В зеркале. Внутри.

Я много лет учился, чтобы овладеть искусством врачевания. Вот я умираю, и я не поручусь, дитя мое, что я мастер своего дела. Я подхожу к столу так же робко, как тогда, в тот день, когда мне, мальцу, лазаретному санитару, умирающий от пули хирург всунул в руки скальпель и промолвил: режь! Ты все знаешь! Я никогда не хотел славы. Почестей. Залитых ярким светом залов. Заморских яств. Сладкой музыки. Дорогих нарядов. Я хотел овладеть хирургией так, чтобы можно мне было за руку человека, что одною ногой ступил на звездный ковер смерти, вывести оттуда, из царства мертвых, обратно на землю.

А зачем? Зачем я их оживлял, всех людей?

Зачем за них во храме молился?

И молился перед сном, и поутру, и среди белого дня?

Затем, что земля — это небо. А небо — это земля.

Отражают они друг друга.

И кто знает, любимые мои люди, Души мои Живые, что там будет, за гробом.

Вот я скоро узнаю. Сейчас.

...Вот я скоро узнаю. Сейчас.

Зеркало, его прозрачный призрачный скол, ледяной скол все быстрее летел ко мне, все ближе и любовнее отражал меня, и я понял: сейчас оно меня раздавит, а может, ударит, а может, со звоном разобьется об пол, и меня ранят тысячи серебряных осколков. Я попятился, а отступать было некуда, зеркало было везде, оно дрожало вместо стен, плыло и кренилось палубой вместо пола и нависало надо мной вместо крыши, и я понял, крышка мне, и даже весело мне стало, краем сознания я по-врачебному думал, остро и скептически: так, схожу с ума, пьян, а вроде не пил, ни спирту, ни браги, ни клюквенной настойки с приездом, да умерших помянуть, у начальника лазарета, — и все зеркальные стены, дальние дали содвинулись, тесно сжали меня, обожгли холодом, льдом, захлестнули соленым вьюжным морем, я раскинул руки, пытаюсь отодвинуть зеркала, а руки мои свободно прошли сквозь стекла и амальгаму, вдвинулись в невидимое, и я обнял отражающий меня мир, обняв все сущее, и узников, и войну, и весь родной народ, и Алексея, и Душеньку, и моего мертвого сына, я стал одним объятием, радостным, прощающим, благословляющим.

Из глубины зеркал полетел на меня лик Алексея. Он приблизился ко мне, вдвинулся в меня, проник в меня, я сам не заметил, как я принял его, телом моим и душою вобрал его.

Я стал им. Он стал мною.

Умер.

Родился.

Я стоял в палате один.

Я лежал на койке один.

В палату вошла девочка, одна.

Белые коски белыми веревками топорщились у нее над плечами.

Она ближе подошла к койке. Надо было что-то говорить. Не молчать.

— Дитяtko мое, — тихо сказал я, — может, ты голодна? Попроси нянечку, она тебя покормит, на лазаретной кухне варили сегодня кислые щи. С треской. Утром треска, в обед трещочка, вечером трещица.

Девочка осторожно села на край койки. Я сверху видел ее затылок. Косички мелко дрожали, будто она плакала. Но она не плакала. Опустила голову низко, до ключиц.

Я хотел погладить ее по острому локтю, по плечу, по острой коленке под застиранным халатом, он велик ей был, не по росту, с чужого взрослого плеча. Я не мог дотянуться.

...А назавтра мне пришлось делать тяжелейшую операцию, вот я попался, с войны да как кур в ошип, раненого привезли, моряка, их сторожевик принял неравный бой с тяжелым крейсером врага, много моряков могилу нашли в ледяном океане, а кто спасся, качался в шлюпке, раненый, истекая кровью, тех рыбаки подобрали. Сюда доставили. Легенды о нас ходили; болтали языками: мол, в бараках-то, в лазарете, такие два хирурга, чудеса творят. Ну, чудеса так чудеса. Согласен. Вносят раненого на носилках. Два дюжих парня, крепкие поморы, брови хмурят, несут. На лицах у парней написано: не выдюжит. Ну, это мы еще посмотрим, кто кого! Мы смерть или она нас! Дергается раненый на носилках. Вopит.

— Бросьте меня! Бросьте! В море! Больно! Захлебнусь!

Портки порваны. Вместо ног красная каша. Он дергает ногами, размахивает кулаками. Борется с невидимым врагом. На ноги сестра уже наложила жгуты. Парни подтащили носилки прямо в операционную, сгрузили раненого на стол. Операция срочная. Каждая минута дорога!

— Сестра! Грелки! Живо!

Нет. Не помогли грелки. Трясся. Дрожал. Чуть не плакал. Зубами стучал. Вместо правой ноги мясное месиво. Левая не лучше. Кости раздроблены. Обработать раны и загипсовать? Или обе ноги отнять к чертям собачьим? Что ты думаешь? Как поступишь?

А ты?

А ты...

— Марлю! Эфир!

Сон. Сон — это тоже зеркало.

Сон снится, зеркало отражает жизнь. Потустороннее зеркало.

Ты все делаешь правильно?

А ты?

А ты...

Больной спит. А я не сплю.

И я не сплю.

Удалить поврежденную ткань мышечную. Костные отломки.

— Бинты! Гипс!

Гипс наложили. Роскошно все. Просто здорово. Я прямо возгордился. А вот никогда не надо гордиться собой на операции. Плохо это может кончиться.

— Маску снимаем!

Сняли. И тут началось. Моряк бил кулаками. Будто в рукопашном с врагом сражался. Орал недуром. Загипсованной ногой пинал воздух. Бился в судорогах. Я, санитары, сестра держали его изо всех сил. Куда там! Он дергался неистово. Как в падучей. Санитары навалились ему на грудь. Руки ловили. Он одного парня в скулу кулаком саданул. Гипс весь во вмятинах, расплзается на глазах, как мокрая глина.

— Давление! Падает! Адреналин! Быстро!

Я сделал укол адреналина в сердце.

Сердце, я закрывал глаза и видел, как оно бьется. Внутри человека, а как снаружи. Оно везде. На земле. На небе. Сердце, винный кровяной мешок, пьянящий кисет, корзина жизни, оплетенная смертными, смиренными ветвями. Красное паникадило. Тело человека — живая церковь, вот почему церковь изобрели. Ее строят, как бабы рожают. Церковь, младенец. Цветной, золотой, белокожий, деревянный, суровый, заполошно на ветру орущий всеми колоколами.

— Переливание крови!

Темнеет. Темно. Проклятие. Опять свет тусклый, как волчий глаз! Опять подстанция ток не дает!

— Эй! Керосиновую лампу сюда! Кто принесет?! Скорей!

И тут девочка вошла. Медленно и тихо. Она несла в руках горящую керосиновую лампу, держала высоко. Над головой.

Операция идет. Операция падает. Рушится. В пропасть. Не спасти. Не удержать. И входит свет. Керосин горит, бьется, тлеет. Разгорается опять. Вот так и жизнь. То затухает, то опять вспыхнет.

— Глюкозу! Спирт!

Девочка, белые коски, красный платок на лбу, тугой узел на затылке, стояла рядом с операционным столом, маленькая нянечка, высоко держала лампу, внимательно глядела, не на меня, не на больного, не на гипс и раны, а вперед, в пространство, и мне казалось, оно в разные стороны расходится, растекается перед ней, и в пустой прогал можно войти и там идти, и прочь уходить, и больше никогда не вернуться.

Операция, зеркало жизни. Я отвел от керосиновой лампы слепые от боли глаза. В зеркале на стене я увидел себя. Нет. Не себя. Да. Себя.

Там отражался иной доктор: ряса до полу, белый халат на тесемках у горла, резиновые перчатки, борода, седая, серебряная, тающий прибрежный лед, круглые совиные очки, нательный крест поверх халата.

Врач Алексей.

Я.

Собственной персоной.

Там, в зеркале.

Я, батюшка Алексей, стоял у стола и оперировал, медленно вводил больному в синюю, как небо, вену спирт с глюкозой, а девочка медленно шла ко мне, приближалась, вот совсем близко подошла, поставила лампу на пол. погоди! Постой! Пусть отразит тебя зеркало. Одно зеркало, другое, третье, множество их крутится вокруг тебя, они отражают друг друга и уводят тебя из моего Мира. Или меня от тебя; это все равно. Красивая девочка, дитячко милое! Нянька лазаретная! Острые локти! Крошки веснушек! Проходит мимо нас наше Время. Катят волны тысячелетий. Нам отпущен слишком маленький срок. Не успеваем мы сделать, что хотим. Только молимся: Господи, дай силы успеть хоть немного. Все люди раненые, и все мимо идут, и все навеки уходят. Кто в гипсе, кто на костылях, кто выздоровел, кто умер. Я отпою умерших. Я благословлю живых. А люди все идут и идут, все мимо и мимо. Ты поставила лампу

на пол. Ты очень рядом. Слишком рядом. Ты глядишь мне в слепые глаза. Я зеркало. Погляди в меня! Там увидишь не себя: Время.

Прощай или здравствуй? Я не могу с тобой проститься. Нам нельзя прощаться. Я понимаю, прощение назначено. Но давай мы его отсрочим! Давай сами Временем станем!

Войди внутрь меня. Это не страшно. Ты тоже будешь отражать святое. Молиться без слов, лишь светом одним. Войди в зеркало! Не бойся! Переступи порог! Видишь, какое чистое, живое серебро!

Девочка, улыбаясь, освещенная снизу мягким, медовым светом керосиновой лампы, встала на цыпочки и крепко обняла меня. И я положил руки ей на плечи.

Мы, в темноте, подсвеченные сбоку и снизу вечным светом, стояли, обнявшись, и тепло жизни и смерти текло в нас большим и малым кругом кровообращения: так вращался в зеркалах Миръ, и так согревались мы внутри льда, тьмы, холода и безлюбья. Где ты, любовь? А вот ты. Рядом. Душа Живая. Душенька. Все вернулось. Нельзя, чтобы не вернулось; невозможно. Одно перетекает в другое. Далекое становится близким и родным. Серебро старинной амальгамы, полнощный праздник, Сияние. Трепещет синий, зеленый мафорий. Мерцает паникадило луны. Солнце горит торжественной иконой Знамение. Это сердце мое. Оно же и твое. Скальпель, вот он, уже не надобен. Идет хирургия Духа и сердца. Мое сердце солнцем освещает боль и смерть, оно восходит в ночи, бьется под ребрами всех тюрем, бьется во чреве будущей матери плодом, ищущим выхода. Земля беременна будущим. Мы будем с тобою, дитя, принимать роды. Не бойся.

Дай мне маску. Перчатки. Зеркало круглое надень мне на лоб.

Возьми в руки лампу. Выше подними. Свети мне. Свети.

Больной на операционном столе стонет.

Я набираю в шприц дигоксин.

Белокосая девочка наклоняется, подхватывает с пола керосиновую лампу. Тусклое нежное пламя бьется сердцем за тонким закопченным стеклом. Будто в стеклянной длинногорлой бутылки, горит туманный, заоблачный золотой свет. Желтое вино. Далекая позолота. Дальний рассвет. Девочка подворачивает винт, свет становится ярче. Она высоко поднимает лампу. С лампой в руках, высоко поднятой, подходит к столу, нежно смотрит на раненого.

Я слышу ее тихий голос. Почти шепот.

Почти выдох.

— Потерпи, милый, потерпи.